

Наталья Елецкая

САЛИХАТ

ФИНАЛИСТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ

Рукопись года



Annotation

Салихат живет в дагестанском селе, затерянном среди гор. Как и все молодые девушки, она мечтает о счастливом браке, основанном на взаимной любви и уважении. Но отец все решает за нее. Салихат против воли выдают замуж за вдовца Джамалутдина. Девушка попадает в незнакомый дом, где ее ждет новая жизнь со своими порядками и обязанностями. Ей предстоит угождать не только мужу, но и остальным домочадцам: требовательной тетке мужа, старшему пасынку и его капризной жене. Но больше всего Салихат пугает таинственное исчезновение первой жены Джамалутдина, красавицы Зехры... Новая жизнь представляется ей настоящим кошмаром, но что готовит ей будущее – еще предстоит узнать.

«Это сага, написанная простым и наивным языком шестнадцатилетней девушки. Сага о том, что испокон веков объединяет всех женщин независимо от национальности, вероисповедания и возраста: о любви, семье и детях. А еще – об ожидании счастья, которое непременно придет. Нужно только верить, надеяться и ждать».

Финалист национальной литературной премии «Рукопись года».

- [Наталья Владимировна Елецкая](#)

-

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- [7](#)

- [8](#)

- [9](#)

- [10](#)

- [11](#)

- [12](#)

- [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [Эпилог](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
-

Наталья Владимировна Елецкая

Салихат

* * *

Роман – финалист национальной литературной премии «Рукопись года».

© Наталья Елецкая, текст, 2020

© Тимур Кагиров, ил., 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

* * *

Меня выдают замуж за убийцу.

Эта мысль терзает меня уже четыре дня и все не укладывается в голове. Пусть все в округе твердят, что Джамалутдин-ата самый уважаемый человек в нашем селе и мне повезло быть за него сосватанной, женщины у родника провожают меня жалостливыми взглядами, а Шамсият-апа вчера поутру сказала мне в спину: «Вай, Салихат, бедняжка!»

Мне шестнадцать, и меня некому защитить. Моя мать умерла так давно, что я ее почти не помню, а мою любимую сестру Диляру отец выдал замуж прошлым летом, теперь она живет в соседнем селе, и видимся мы редко. Я живу в доме отца и его новой жены, которая занята тем, что каждый год рождает по ребенку, а однажды родила сразу двоих, одного за другим, с разницей в десять минут. Жубаржат почти не покидает своей половины, она занята детьми и хозяйством, а когда нам удастся перекинуться словечком, из страха перед мужем она даже пожалеть меня не смеет, не говоря уж о том, чтобы чем-то помочь. Ведь она ненамного меня старше, а детей у нее уже больше, чем пальцев на одной руке.

Да и зачем помогать? Никому это и в голову не придет. Выдают замуж против воли? В Дагестане это обычное дело. Пусть у многих в домах телевизоры и телефоны, нравы в нашей горной долине остались такие же, как много веков назад. Мы живем по законам предков, подчиняемся обычаям, а если точнее, все сводится к одному обычаю. Мужчина – всё, женщина – никто. Это мы, девочки, усваиваем, едва начинаем делать первые шаги, держась за юбку матери.

Я знала, что рано или поздно это случится. Вступив в брачный возраст, стала жить в неотступном страхе, что однажды отец скажет: на тебя нашелся покупатель. Правда, пока не выдали Диляру, я не сильно волновалась, ведь по нашим законам сначала должна выйти замуж старшая сестра, а уж потом наступает черед остальных девочек в семье. Если бы ее никто не засватал, я бы тоже осталась старой девой, пусть бы даже за мной выстроилась очередь. Но со дня свадьбы Диляры мне не стало покоя. Изнурительный труд с утра до вечера лишь немного притуплял этот страх, да еще робкая надежда, что отец пожалеет меня и позволит самой выбрать суженого. Глупые мечты, недостойные честной девушки. Позволь мне отец такое, и позору не оберешься. Старейшины села отвернутся, про наш дом станут говорить нехорошее. И поэтому я смирилась, как смирилась Диляра, а перед этим – наша мать, а перед ней – мать нашей матери.

Ожидание неизбежного так отравляло мою жизнь, что – клянусь Аллахом – я испытала облегчение, когда увидела входящую во двор Расиму-апа. Лицо у нее было такое, что я сразу все поняла и тотчас опустила голову как можно ниже, сделав вид, что занята замесом теста для чуда^[1] и не замечаю ничего вокруг. Расима-апа удовлетворенно кивнула, шествуя мимо меня в своих просторных одеждах, скрывающих дородное тело. Она вошла в дом, и вскоре отец позвал меня в залу, где принимал только дорогих гостей. Вот тогда я и узнала, что сосватана за Джамалутдина-ата, которому Расима-апа приходится родной тетей и который полгода назад убил свою жену.

Мой отец, как сказали бы в России, занимается бизнесом. У нас про таких, как он, говорят – уважаемый человек. Ему принадлежит большой участок земли в получасе ходьбы от села, где растут перцы, баклажаны и лук, которые отец раз в неделю отвозит в Махачкалу на своем ржавом грузовичке и сдает оптовику. Кто такой этот оптовик, я толком не знаю, просто слышала, как отец не раз сетовал на его жадность, порочащую правоверного мусульманина.

Наверное, дела у отца идут хорошо, мы ни в чем не нуждаемся (не то, что большинство соседей). У нас просторный дом, правда, большая его часть отведена Жубаржат и детям, которые все рождаются и рождаются. Отец занимает скромную комнату в задней части дома, где он спит и ведет свои учетные книги. Я сплю в пристройке за кухней, такой маленькой, что там умещается только мой топчан, и даже сундук с одеждой приходится оставлять за занавеской. Еще есть гостевая комната – зала, где всегда чисто и пусто. Отец не позволяет детям туда ходить, да и большинству гостей тоже. Когда жители села приходят в дом, отец принимает их в кухне, а если визитеры женщины, они через боковую дверь идут сразу на половину Жубаржат. Расима-апа – исключение, возраст и положение позволяют ей говорить с мужчиной с глазу на глаз, особенно по такому важному поводу, как сватовство.

Живем мы скромно. Отец говорит, что выставлять напоказ достаток – харам, грех. Поэтому в моем сундуке только два повседневных платья, которые я чиню в случае надобности, и одно выходное. Платков у меня около десятка, ведь их нужно стирать ежедневно – не дай Аллах, кто-нибудь увидит пятнышко, да и стоят они немного, поэтому отец покупает мне их время от времени, а я бережливая, вещи меня любят, как говорит Жубаржат. Ей-то вечно требуются обновления.

Косметикой я не пользуюсь. Ходить накрашенной считается одним из самых ужасных грехов для незамужней девушки, такая никому не будет нужна. Мне бы хотелось иметь хоть одну из тех красивых вещиц, что я видела у двоюродных сестер, когда ездила в Махачкалу навещать тетю. Но отец в ответ на мою просьбу

нахмурился и сказал только одно слово – «харам!», а это равносильно строжайшему запрету, нарушение которого жестоко карается. У нас нравы суровые, за помаду девушку могут прилюдно побить, и никто за нее не вступится, наоборот – еще и осудят.

Абдулжамал (так зовут моего отца) не всегда жил в достатке. Когда мы с сестрой были еще маленькие, он, если находился в добром настроении, рассказывал истории из своего детства, и один раз я даже заплакала от жалости к нему, настолько тяжелой была его жизнь, пока он не стал сам зарабатывать на хлеб. Абдулжамал, а с ним девять его сестер и двое братьев, вместе с родителями ютился в маленьком домике у подножия гор и с пяти лет в любую погоду помогал отцу пасти овец. Но овцы не принадлежали семье Абдулжамала, его отец был лишь наемным пастухом, и вот однажды, когда оба заснули, разморенные полуденной жарой, кто-то украл почти всех овец из стада. Отцу Абдулжамала нечем было возместить убыток, его жестоко избивали, он долго лежал в больнице, и все это время семья жила впроголодь, питаясь лишь тем, что росло в огороде. С той поры Абдулжамал твердо решил, что придет день, когда его семья не будет нуждаться. Но прошли долгие годы, прежде чем это и в самом деле произошло.

Мама была совсем юной, когда отец на ней женился. За четыре года она успела родить ему лишь двух дочерей и умерла, рожая мальчика, который не прожил и дня. Горевал отец недолго, в наших краях мужчине нельзя без жены, которая ведет хозяйство и смотрит за детьми, поэтому на исходе положенного срока он привел в дом Джамилю.

Джамиля прожила с нами чуть больше трех лет. Она была добра ко мне и Диляре и хорошо справлялась с домашними обязанностями, вот только никак не могла зачать. Отец хотел сына, поэтому он развелся с Джамилей и отправил ее обратно в родительский дом, а для женщины нет большего позора, чем быть отвергнутой мужем. Говорят, Джамиля от отчаяния подалась в город и там пошла по кривой дорожке. Но думаю, это наговоры дурных людей. Она была правоверная мусульманка, наша первая мачеха.

С появлением Жубаржат все изменилось. Не прошло и года после свадьбы, как она родила первенца – Азима, что в переводе с арабского значит «великий». Отец на радостях подарил молодой жене несколько

отрезов со стеклярусом на нарядные платья. Видимо, Жубаржат понравились отрезы, и она захотела еще, потому что ровно через год появился Гусейн, за ним – близняшки Шамиль и Шахбаз, и только потом, одна за другой, две девочки-погодки, наши любимые сестренки – Адиля и Шамсият. Не успевают у Жубаржат опадать после родов живот, как через несколько месяцев опять надувается, словно шар. Она почти не выходит из дому, боится дурного глаза – не все женщины могут похвастаться такой плодовитостью. Поэтому за водой на родник и на работу в поле всегда ходили мы с Дилярой. Но мне это нравилось, ведь больше у нас не было поводов, чтобы выйти из дому.

Когда Диляра вышла замуж, работать пришлось больше прежнего. Теперь я хожу на родник в дальнем конце села по три, а то и четыре раза в день, ведь воды требуется много. Жубаржат готовит еду и купает детей, а я мою полы и посуду, стираю на всех. До родника с пустыми ведрами десять минут ходу, обратно – в два раза больше. Идти надо медленно, чтобы не расплескать воду, и смотреть себе под ноги, но не только чтобы не споткнуться, а потому, что так положено. Молодая девушка не может поднять взгляд выше кончиков своих туфель, даже если на дороге кроме нее никого нет, а уж когда на скамейках у своих домов с утра до вечера сидят старики... Они всегда найдут, за что осудить девушку, даже если она в юбке до пят и платок полностью скрывает ее волосы. Так что лучший способ уберечься от греха – не допускать даже вероятности греха, так говорит мой отец, и я с ним согласна.

Пока дела у отца шли не так хорошо, мы с сестрой все лето работали в поле. На коленях ползали вдоль бесконечных грядок, уходящих за горизонт, выдергивая сорняки, рыхля землю, а потом собирая урожай. Пальцы трескались до крови, платки выгорали на солнце, а кожа шелушилась от обезвоживания. Когда жара становилась нестерпимой, мы возвращались домой и помогали Жубаржат, торопясь, чтобы к приходу отца ужин был готов, а дом чисто убран. Мы так худели за летние месяцы, что одежда болталась на нас, а глаза западали. Когда несколько человек спросили у отца, не заболели ли мы, он испугался, что люди решат, будто он морит нас голодом, и никто нас таких не засватает. Тогда он нанял сезонных помощников, а нам предоставил заниматься домашней работой. Я стала вставать не в четыре часа утра, а в шесть. Не спеша, по утренней прохладе, шла за

водой, готовила завтрак, пила с Дилярой чай в тени раскидистого абрикоса и только после этого начиналась обычная круговерть: помыть, постирать, убрать. В течение дня, если отец отсутствовал, можно было ненадолго зайти к Жубаржат, поиграть с малышами, обсудить насущные дела, а заодно угоститься засахаренными фруктами, которыми отец иногда баловал жену. Детям он никогда не покупал лакомств, считая это расточительством.

Диляра недолюбливала Жубаржат, не знаю, почему – спросить я не решалась. А вот мне мачеха понравилась сразу, и я старалась помогать ей с детьми и уборкой, если у меня оставалось свободное время после всех дел.

Когда Диляра нас покинула, мы с Жубаржат еще больше сблизились. Правда, отец не догадывается об этом. В его присутствии мы не смеем и словечком перемолвиться. Когда он избивает одну из нас, другая не вмешивается, твердо усвоив: вступишься – сразу получишь свое. Отец не трогает жену, лишь когда у нее живот уже такой огромный, что она того гляди начнет рожать. Тогда он ограничивается тем, что кричит и замахивается на Жубаржат, но я все равно каждый раз закрываю глаза, чтобы не увидеть, как тяжелый кулак опустится ей на голову – вдруг в этот раз отец не сдержится?..

А вот мне всегда достается сполна. Повод может быть любой: не доварила хинкал, плохо выгладила рубашку, задержалась возле родника дольше положенного (наверняка заглядывалась на парней, нечестивая!), не кинулась выполнять распоряжение отца с должной поспешностью... Я научилась молниеносно уворачиваться от летящих в меня калош, палок и алюминиевых мисок и терпеть боль от ударов чем ни попадя, если отцу удастся меня поймать. Все считают его добрым. Он очень редко избивает нас до потери сознания, чего не скажешь о других мужчинах, крики жен и дочерей которых давно стали привычными звуками на нашей улице, и на которые никто не обращает внимания, как на кукареканье петуха или лай собаки.

За тяжкую провинность женщину могут приговорить к смерти, и никто за нее не вступится. Вот Джамалутдин-ата убил жену, и ничего ему за это не было. Теперь он снова решил жениться, и его выбор пал на меня. Если бы он убил Зехру на полгода раньше, он бы тогда засватал не меня, а Диляру, старшую дочь Абдулжамала Азизова, и к тому же более красивую, чем я. Но когда сватали Диляру, жена

Джамалутдина-ата еще была жива. Вот так и получилось, что Диляре достался добрый и спокойный муж, который со дня свадьбы ее ни разу пальцем не тронул, а я уже четыре дня трясусь от страха, прекрасно понимая, что меня ждет.

* * *

– Салихат!

Я захожу в комнату, втянув голову в плечи и, не поднимая взгляда от выскобленных добела половиц, останавливаюсь перед отцом. Он опирается на стол одной рукой, колени широко расставлены. Я знаю, что за его спиной Жубаржат – хотя и не вижу ее – опустила глаза.

– Тебе понадобится все, что полагается к свадьбе.

Это не вопрос, это утверждение, и я молча киваю, соглашаясь. Если я сейчас заговорю, из глаз польются слезы и тогда в меня наверняка полетит что-нибудь, до чего отец сможет дотянуться.

– Свадьба через две недели.

Так скоро! Я цепенею от ужаса. Я надеялась, что это произойдет ближе к зиме. Или хотя бы ранней осенью. А теперь только июнь. В свой день рождения я проснусь уже замужней. О Аллах, почему ты посылаешь мне такое испытание? Может, еще не поздно все исправить?

– Отец... – умоляюще шепчу я.

Жубаржат за его спиной делает страшные глаза и мотает головой. Но я не обращаю внимания, ведь сейчас решается моя судьба. Хотя на самом-то деле она уже давно решена – в день, когда я появилась на свет.

– Отец, пожалуйста...

– Ты что сказала, Салихат? – Брови отца сходятся на переносице, это очень тревожный знак, но страх перед скорым замужеством лишает меня остатков разума.

– Прошу, не отдавай меня Джамалутдину-ата. Ты знаешь, что он сделал со своей женой...

– Его жена была шлюха! – Слова, хлесткие как плеть, вылетели из отцова рта вместе со слюной. – И получила по заслугам. Если ты сделаешь, как она, я сам тебя убью, а не твой муж. Ты поняла?

Я киваю, хотя и не знаю, что именно сделала покойная Зехра. Ноги дрожат противной дрожью, руки липкие от пота, я кусаю губы, чтобы не разрыдаться. Это была единственная попытка сопротивления, на большее я не способна. И отец это прекрасно понимает. Помолчав какое-то время, достаточное, чтобы я пришла в себя, он продолжает спокойным голосом:

– Через неделю из Махачкалы придет твоя тетя Мазифат, привезет свадебный наряд и останется помочь с торжеством. Перед свадьбой из соседних сел приедут другие мои сестры, которых мужья согласились отпустить. Гости приедут отовсюду, еду придется готовить несколько дней подряд. Со стороны Джамалутдина будет много родственников. Он уважаемый человек, не хочу, чтобы люди потом судачили за моей спиной, будто я пожалел чего-то для дочери. Теперь можешь идти. Если к моему возвращению хинкал не будет горячим, шкуру спущу.

Не припомню, когда в последний раз отец обращался ко мне с такой долгой речью. Сегодня он уделил мне целых десять минут. Обычно все происходит куда быстрее: сначала приказ что-то сделать, потом расправа (когда на тебя сыплются колотушки, минуты длятся бесконечно). Но чаще всего он просто молча смотрит на меня одним из своих грозных взглядов, и не нужно слов, чтобы я опрометью кинулась выполнять то или это.

Я иду, ничего не видя вокруг, спотыкаясь, как слепая. Отчаяние, плотное, как тесто для хинкала, залепило мои глаза и легкие, так что я ничего не вижу и почти не могу дышать. До этого момента во мне теплилась робкая надежда, что отец передумает, что не сможет он отдать меня убийце, даже если Джамалутдин-ата пообещал ему объединить деньги в бизнесе. Я отказываюсь верить, что меня продали, словно вещь, завалывшуюся на полке магазина. Странно, но мысль о том, что многих девочек на нашей улице охотно отдают замуж за первого посватавшегося, лишь бы поскорее сбыть с рук, а не ради денег, не внушает мне такого отвращения, как сделка между отцом и Джамалутдином-ата.

Я забиваюсь в укромный уголок под навесом, где отец хранит инвентарь, чтобы он не увидел, что я прохлаждаюсь. Хочу немного посидеть в тишине и спокойно подумать. Надо, чтобы руки перестали трястись, а тело – исходить липким потом. Может, не все так страшно,

как кажется. Если хорошенько подумать, в этом замужестве наверняка найдутся и положительные стороны, ведь все события посылает нам Аллах, да не оскудеет милость Его.

Вспоминаю все, что слышала о Джамалутдине-ата. Но прежде пытаюсь представить его лицо – и не могу. Я попросту никогда на него не смотрела, хотя мы и встречались иногда на улице. Всякий раз я так поспешно опускала голову, что успевала заметить лишь внушительную фигуру и крупные руки с пальцами, поросшими волосами. Именно эти руки задушили несчастную Зехру. Я вздрагиваю и тотчас прогоняю ужасную мысль, не хочу об этом думать, не хочу. Я не знаю, красивый Джамалутдин-ата или нет, совсем старый или не очень. Его старший сын недавно женился, отец гулял на свадьбе, рассказывал потом, как все было хорошо организовано, не стыдно людям в глаза смотреть. Значит, Джамалутдин-ата никак не может быть молодым. Повезло Диляре – мало того что муж ее не бьет, так он еще и одних с нею лет. Может, поэтому они так хорошо живут, и Диляра не нарадуется. Одно только плохо – беременность все не наступает, и свекровь разносит дурные сплетни о сестре по соседнему селу.

Возвращаюсь мыслями к будущему мужу. Его дом стоит на краю села, почти у самого родника. Теперь мне не придется далеко ходить за водой. Дом обнесен высоким забором, со двора на улицу свешиваются ветви абрикосов, летом густо усыпанные спелыми плодами. У Джамалутдина-ата есть машина, новая «десятка», на ней он каждый день уезжает по делам. Дорога в город проходит мимо нашего двора, так что я наверняка это знаю. Значит, дома он бывает не так уж и часто. Говорят, у него водятся деньги, и дом полон всяких дорогих вещей. Я не привыкла к роскоши и заранее робею: а ну как не смогу управляться по хозяйству? Но на этот случай есть Расима-апа, которая Джамалутдину-ата вместо матери и живет с ним, она мне все покажет и будет давать наставления. Конечно, мне придется во всем ее слушаться и угождать, так делают все женщины, они обязаны выполнять малейшую прихоть матерей своих мужей. Еще в доме живут оба сына Джамалутдина-ата и его невестка. Надеюсь, мне удастся подружиться с этой девушкой. Слышала, ее взяли из села, где живут Диляра и две мои тетки, сестры отца. Хотя свадьба была еще в марте, я ни разу не видела ее у родника и вообще на улице. Интересно,

кто у них ходит за водой? Ведь не сама же Расима-апа? Младший сын Джамалутдина-ата еще мальчик, жену ему подыщут нескоро.

Кто-то меня зовет. Это Жубаржат. Я смотрю на солнце, оно в зените, и вздрагиваю от ужаса: скоро вернется отец, а теста еще и в помине нет! Несусь через двор к дому. Жубаржат стоит на крыльце и, приставив ладонь козырьком ко лбу, высматривает меня. Вторая рука лежит на животе, где ждет своего часа маленький. Жубаржат надеется, что будет мальчик. Девочек уже хватит, от них никакого толку, а от сыновей женщине уважение, и муж с каждым новым мальчиком становится добрее.

– Ну что ты себе думаешь, Салихат! – выговаривает она, пытаюсь казаться строгой, а у самой в глазах жалость пополам с нежностью. – Или синяки от той палки уже все сошли, еще захотелось?

Я пытаюсь что-то сказать в свое оправдание, но она перебивает:

– Все знаю. Сама засватанной была. Ох, и страшно мне тогда было! Не знала, какая жизнь меня ждет. Плакала, в ногах у отца валялась, умоляла не отдавать за Абдулжамала. Побоев мне за тот месяц досталось больше, чем за все годы замужества. А сейчас не устаю славить Аллаха, что послал мне мужа и таких прекрасных деток. Пойдем, помогу тебе с тестом, пока малыши спят. Я их только уложила, так что все успеем.

Благодарно прижимаюсь щекой к плечу Жубаржат. Как я буду без нее? Сначала без Диляры, а теперь еще и без мачехи. Привычно отгоняю грустные мысли, а заодно и слезы, что в который раз наворачиваются на глаза. Сейчас не время жалеть себя, надо поспешить с обедом. Обычно это обязанность Жубаржат, но как только меня засватали, отец велел мне готовить обеды самой, чтобы я как следует научилась для мужа.

Усаживаемся с Жубаржат за стол на кухне и начинаем месить тесто. Я хорошо умею делать хинкал. Подготовленные для варки квадратики выходят у меня такими же ровными, как у Жубаржат. Наши пальцы заняты работой, и мы спешим поговорить, пока не вернулся отец, – даже дети боятся шуметь в его присутствии. Я спрашиваю у Жубаржат, как это было, когда ее засватали. Раньше мне не полагалось расспрашивать о таких вещах, ведь до прихода Расимы-апа в наш дом я считалась девочкой. А теперь самое время, и я жажду

узнать подробности, о которых Жубаржат посчитает возможным рассказать.

– Мне только-только исполнилось шестнадцать. – Голос Жубаржат льется спокойно и неторопливо, словно она рассказывает историю давно минувших дней, случившуюся с кем-то другим. – Совсем как ты была, только тебе уж семнадцать вот-вот. Я и подумать не могла, что скоро стану замужней. Ведь моя старшая сестра вышла замуж в девятнадцать. Мама очень нас любила, хотела, чтобы мы подольше не покидали дом. Но отец решил иначе. Мама и слова сказать не посмела, когда одна из сестер Абдулжамала пришла по мою душу, только плакала тайком вместе со мной. А что еще она могла? Я знала, что Абдулжамал до того дважды был женат и что первая его жена умерла, а вторую он прогнал. Боялась, вдруг и со мной что-нибудь плохое случится. Не хотела идти за старика, у которого дочери уже почти взрослые. Да только кто меня спрашивал? – Она грустно качает головой, потом тихонько охает, прикладывая руку к животу, видать, ребеночек пнул ножкой. – Каждый раз, как начинала умолять отца меня пожалеть, он приходил в ярость. Ну точь-в-точь как Абдулжамал сейчас. Я, когда вижу, как он на тебя гневается, сразу те дни вспоминаю, когда сама засватанной ходила. И так жутко становится, будто все вчера было. – Она замолкает, сосредоточенно нарезаая квадратики теста.

– Ну а дальше? – нетерпеливо подгоняю я ее. – Что дальше было?

– О Аллах, что за любопытство! погоди, сама узнаешь. Две недели быстро пролетят.

– Пожалей меня, скажи, что дальше будет. – В моем голосе мольба, я все, что угодно, готова сделать, лишь бы она продолжала.

– А ну как ты в арык кинешься, – упрямится Жубаржат, но я вижу, что она это только для виду, ей и самой хочется поделиться своей историей, ведь больше-то не с кем. – Да что было? Колотил меня отец чуть не каждый день, думала, места живого не оставит, но потом я умнее стала, поняла – просить бесполезно, не то мертвой стану от побоев. Через месяц свадьбу гуляли. Увидела я Абдулжамала, когда мулла над нами стал обряд делать, и заплакала, таким он мне страшным показался. Так и проплакала до вечера, хорошо, что накидка плотная была.

– И что стало, когда пир закончился? – Я широко распахиваю глаза, понимая: задай я такой вопрос кому другому, плохо бы мне было.

Бледные щеки Жубаржат вспыхивают, она смущенно отводит глаза и бормочет:

– Вай, Салихат, это слишком! Узнаешь, когда время придет. Скажи лучше, ты ведь... девушка? – выдавливает она.

Теперь мой черед краснеть. Я знаю, о чем она. Но ни один мужчина не касался меня и не видел без одежды. Конечно, я честная девушка и Жубаржат это знает.

– Тогда все пройдет хорошо, – кивает она, увидев ответ в моей вымученной улыбке.

– Что пройдет?

Можно лишь догадываться. Смутные знания «об этом», почерпнутые в основном из туманных намеков Диляры, лишь усиливают страх и жгучее чувство стыда, ведь порядочной девушке не пристало не то что спрашивать – даже думать о таких вещах. Будь у меня мама, она бы мне шепнула что-нибудь «об этом» перед свадьбой, но мамы нет, и Жубаржат придется взять эту миссию на себя. Наверняка она и Диляру наставляла.

– Брачная ночь, что ж еще. Наутро платок покажут всему селу.

– Вах, стыд какой! – Я прикрываю рот белой от муки рукой.

Жубаржат кусает губы. Если Абдулжамал узнает, что она такие разговоры со мной водит, прибьет, несмотря на ее живот.

– Если крови не будет, лучше бы тебе не родиться на свет. Всю семью опозоришь. Муж вернет тебя, и отец со стыда на глаза соседям не сможет показаться. Кровь – вот что главное в день твоей свадьбы, Салихат. Чем ее больше, тем лучше.

– А откуда она берется?

– Оттуда, – шепчет Жубаржат, делая большие глаза, и стонет: – Ну же, хватит, Салихат, не мучь ты меня, ради Аллаха!

– Но мне надо знать, – кухня плавится от жара печи, но я дрожу, будто зимним вечером выбежала во двор в одном платье, – надо знать, Жубаржат, миленькая, ведь сама-то ты...

– Да я-то ничегошеньки не знала! – перебивает она меня почти сердито. – Все случилось, когда нас с Абдулжамалом отвели в комнату, где я теперь детей рожаю. Пришлось потерпеть, но ничего, жива

осталась. Я так тебе скажу – побои больнее. Главное, не сопротивляйся и мужа слушайся. Помни, так в Коране написано. А то кровь у тебя не только из того места пойдет, откуда надо. Муж все равно будет бить, без этого никак, но не в первую же брачную ночь. Как потом к гостям-то выходить, подумай.

– Я так боюсь его, Жубаржат. Не знаю, в чем Зехра провинилась, но ведь не настолько, чтобы умереть. А что, если и меня...

– Молчи, дурная! – Теперь Жубаржат уже по-настоящему разозлилась. – Мало ли что с этой Зехрой стало, не наше это дело. Аллах карает только виновных! Не перечь мужу, рожай ему исправно детей и будешь жить не хуже, чем другие. Ну хватит болтать, – она решительно встает и ставит на огонь кастрюлю с куриным бульоном, – пора варить хинкал.

Я передаю ей большую доску с нарезанными квадратами теста, сметаю со стола остатки муки и протираю столешницу мокрой тряпкой. Понимаю, что разговор закончен, продолжения не будет. И так Жубаржат сказала куда больше, чем дозволено. Но все же не выдерживаю, подхожу к мачехе, осторожно опускающей тесто в закипевший бульон, и шепчу ей в ухо:

– Скажи, а это очень больно?

Она охает, замахивается на меня, и в этот момент у нее начинаются роды.

Тетя Мазифат сидит в тени старого абрикоса и шумно прихлебывает чай из щербатого блюдца, вприкуску с колотым сахаром. На дворе печет, тете жарко от горячего чая, она то и дело утирает лицо краем широкого платка, наброшенного на голову, и внимательно наблюдает за тем, как я пеку хлеб в глиняном очаге под навесом. Мне еще жарче, чем тете Мазифат, но она может оставить свое занятие и уйти в дом, а я не могу: печь хлеб – моя обязанность с десяти лет. Надо следить, чтобы лепешки были ровными и не подгорали с одного боку. Я вынимаю из печи готовый хлеб, кладу на покрытую чистой тряпичной доску и принимаюсь за новую партию. Хлеба требуется много, дети Жубаржат растут и постоянно голодны, а теперь и самой Жубаржат нужно хорошо питаться.

Она уже неделю не выходит из спальни – восстанавливает силы после тяжелых родов. Они случились на месяц раньше срока – по моей вине. До сих пор в ушах стоят ее ужасные крики. Жубаржат никогда не кричала так прежде, она легко родила шестерых детей, но маленький Алибулат, хоть и родился недоношенным, видать, отыгрался за своих братиков и сестричек. Так сказала Жубаржат, когда я зашла ее проведать после того, как все кончилось. Странно, но она совсем на меня не сердилась, только улыбалась измученной улыбкой да сжимала и разжимала пальцы, между которыми был зажат край одеяла. Я заплакала, а она принялась меня утешать и говорить, что я вовсе ни при чем, просто Алибулатику не терпелось выйти наружу.

– Даже хорошо, что он такой нетерпеливый оказался. В жару с животом тяжко. А теперь ничего, дышать сразу легче.

Но из комнаты она по-прежнему не выходит, хотя пошел уже восьмой день. Тетя Мазифат говорит, что Жубаржат скоро поправится. Она поит ее целебными настоями из горных трав. Я молю Аллаха, чтобы вернул силы мачехе. Если она умрет, что мы будем без нее делать? Особенно младенец, ведь ему нужно материнское молоко. Правда, если в нашем доме случится покойник, свадьбу отменят. Но я гоню прочь нечестивые мысли, я ругаю себя последними словами, я

готова хоть завтра стать женой Джамалутдина-ата, только бы Жубаржат поправилась.

Я люблю тетю Мазифат больше других сестер отца. Она самая младшая из них, поэтому почти молодая. Старший сын тети Мазифат, мой двоюродный брат Гаффар, учится в университете. Он привез ее вчера на «Жигулях» дяди Ихласа и сразу уехал обратно. Они потом вместе приедут на свадьбу: дядя Ихлас, Гаффар и две мои двоюродные сестры.

Зарема и Зарифа давно окончили школу, но дядя не разрешает им учиться дальше, он подыскивает им достойных женихов и не скрывает, что обе дочери засиделись в невестах. Еще немного, и их никто не возьмет, даже в таком современном городе, как Махачкала. Тетя Мазифат считает, что у дочек появилось бы больше шансов найти мужей, если бы они хоть иногда выходили из дому, но дядя с ней не согласен. А как он разозлился, когда Гаффар предложил познакомить Зарему с хорошим парнем со своего курса! Тот как-то увидел Зарему возле ее дома, когда ждал Гаффара, и влюбился. Но родители парня недостаточно богаты, чтобы породниться с дядей Ихласом. Тетя Мазифат звонила моему отцу и кричала, что по милости мужа дочка старой девой останется. Я как раз мыла полы в зале, где стоит телефон, и все слышала.

И вот теперь тетя сидит под абрикосом и пьет чай. Вид у нее довольный, еще бы: позвали помогать со свадьбой, а значит, ей большое доверие и почет. Она уважаемая женщина, единственная из большой семьи Азизовых живет в Махачкале. И муж у нее уважаемый человек: заместитель директора в крупной торговой фирме. Всего у отца шесть сестер. Когда-то было девять, но три умерли, четверо замужних раскидало по соседним селам, а самая младшая не замужем и живет с моей бабушкой, матерью отца, которая уже такая старенькая, что не выходит из дому, и тетя Шерифа за ней ухаживает. Она не вышла замуж, чтобы остаться с престарелыми родителями, и я ни разу ее не видела – дом, где родился и вырос отец, стоит далеко, по ту сторону гор.

Тетя Мазифат привезла мне свадебный наряд. Это расшитое серебряными нитями белое платье, а к нему – фата из плотной непрозрачной материи, шаровары и туфли. Украшения прислал Джамалутдин-ата, это его свадебный подарок. Вчера по просьбе тети я

примерила наряд и расплакалась. Тетя молча прижала меня к необъятной груди и покачивала, как маленькую, пока я не успокоилась. Она помогла мне снять все эти красивые вещи и убрала их в сундук, пусть пока полежат, сказала она, будто свадьба не через неделю, а через сто тысяч лет. Все-таки тетя любит меня, как родную дочку, хотя мы видимся очень редко. Я бы хотела, чтобы у моей матери была сестра, и чтобы она жила в нашем селе. Тогда я бы не чувствовала себя так одиноко.

В последние дни мои мысли путаются и скачут в разные стороны, словно резиновые мячи. Все, за что ни возьмусь, валится из рук, сегодня утром я чуть кипятком на себя не вылила, когда стирала одежду. Только Аллах уберег от беды. Я говорю себе, что это из-за усталости, потому что Жубаржат болеет и не может заниматься делами по дому, у нее хватает сил только чтобы ухаживать за младенцем, а остальные дети сейчас на мне. Их надо помыть, покормить, поменять им грязную одежду, поругать за шалости... Хорошо, что приехала тетя Мазифат. Она мне сильно помогает, хотя и не обязана. Она гостя в нашем доме и должна целыми днями пить чай под абрикосом или ходить в гости к соседкам. Но тетя понимает, что мне тяжело, и охотно берется помочь с обедом или последить за детьми. Но, конечно, всю грязную работу приходится делать мне самой. Тетя качает головой, она недовольна, что я так надрываюсь и ничего не ем, а сегодня утром сказала отцу, что на меня смотреть страшно, такая я изможденная. И о чем он только думает, ведь меня выдавать через неделю. Отец разозлился, накричал на тетю Мазифат и уехал. Я заверила ее, что нисколечко не устаю, а про себя подумала: хорошо бы мне сильно заболеть и подурнеть настолько, чтобы Джамалутдин-ата увидел меня в день свадьбы и передумал жениться. Будет позор, и меня больше никто не засватает. Но это не так уж и плохо. У отца я не останусь, уеду в Махачкалу к тете Мазифат, там окончу школу, курсы и стану продавщицей в магазине. А когда отец умрет, вернусь в село и буду жить с Жубаржат.

Все это только мечты. Я знаю – свадьба состоится, но уже не боюсь. Я просто устала плакать и бояться. Тетя и Жубаржат смотрят на меня с подозрением, наверное, думают, что я замыслила нехорошее. Но это не так. Пусть будет что будет. Во мне что-то надломилось и умерло, и стало все равно. Я продолжаю вставать затемно, готовить завтрак после молитвы, заниматься детьми, убирать в доме и ходить за

водой, но все это делаю будто не я, а другая девушка. И от этого мне становится немного легче.

– Салихат, девочка!

Я отрываю взгляд от очага, где подрумянивается хлеб, и смотрю на тетю Мазифат. Она манит меня пальцем.

– Иди сюда.

Дожидаюсь, пока лепешки пропекутся, вынимаю их, заливаю угли и только тогда иду к тете. После спасительной тени навеса раскаленный двор прижимает зноем к земле. Скорее под новую тень, теперь уже от абрикоса.

– Что, тетя? Еще чаю вам принести?

Она качает головой.

– Иди, спроси у Жубаржат, не надо ли ей чего. Хлеб оставь, я сама в дом отнесу. Отдохни немного, ты так покраснелась. Слышишь, да?

– Не могу. Скоро отец вернется, он просил чуда с курятиной к обеду испечь.

– Чуду я сама испеку! Иди, иди, – машет она нетерпеливо. – Лучше побудь с Жубаржат, плохо ей, бедняжке, там одной.

Я ни за что в этом не признаюсь, но рада немного побыть в прохладе комнат. Нынче на улице и правда печет, будто и не июнь вовсе, а начало августа. Открываю дверь на половину Жубаржат и сразу гложу от криков малышни, которая вся собралась в одной комнате. Кто играет на полу, кто дерется, кто бежит друг за другом. Слишком жарко, чтобы выгонять их во двор, а время дневного сна еще не подошло. Растаскиваю дерущихся старших, меняю штанишки обеим сестренкам (младшая еще не умеет ходить, ползает по голым доскам пола), навинчиваю колеса на старую-престарую машинку Шамиля и Шахбаза и только потом вхожу в спальню Жубаржат.

Там душно, окно занавешено, пахнет испражнениями младенца и потом Жубаржат. Постель пуста, грязные простыни сбиты на сторону. Жубаржат качает люльку, в которой покряхтывает Алибулат. Даже в полумраке вижу, как похудела Жубаржат, рубаха болтается на ней, запястья стали совсем тонкими. Она поворачивает ко мне бледное, без кровинки лицо и улыбается.

Сердце сжимается от жалости к ней. А она, наверное, жалеет меня, потому что говорит:

– Я сегодня уже хорошо себя чувствую. Вот оденусь и помогу тебе.

Протестующе машу руками:

– Ты сумасшедшая, да? Посмотри, какая ты бледная, снег и тот не такой белый. Ложись в постель, я покачаю. – Подхожу к люльке, заглядываю внутрь. – Он уже заснул, видишь? Ложись. Нет, погоди. Дай сначала белье перестелю.

Жубаржат обессиленно опускается на голый пол. На лице облегчение, но при этом она продолжает спорить:

– Салихат, сестренка, из-за меня тяжело тебе. В чем только душа держится? У тебя свадьба скоро, ты должна быть самой красивой невестой. Если не по хозяйству, так хоть с детьми немножко побуду, ты лишний час отдохнешь. Они вон какие беспокойные, целый день скачут.

– Куда тебе к детям, – ворчу, взбивая подушки. – И так покоя тебе не дают, то один забежит, то другой. Не волнуйся, ничего с ними не сделается. Скоро обедом их накормлю и спать уложу, а после, как жара спадет, на двор выгоню до ужина. Тетя Мазифат мне помогает. Ты скажи, что хочешь есть? Чаю с хлебом или, может, хинкал? С вечера остался, погреть могу. Или вот тетя скоро чуду с курятиной испечет, принести тебе?

– Чуду я бы съела. – Жубаржат вытягивается на расправленных простынях, вздыхает облегченно. – Молоко плохо идет, Алибулатик голодным остается, засыпает плохо. А у меня сил нет на руках его носить. Такая слабость, хоть плачь.

– Тебе отдохнуть надо, выспаться. Хочешь, малыша к себе возьму? Буду приносить, только чтобы ты его кормила.

– Не привыкла я столько отдыхать. Вот и Абдулжамал ругается, заходил сегодня, сказал: что валяешься, ребенок уже скоро ногами пойдет, а ты все лежишь. Говорит, если до конца недели не начну работать по дому, он с плеткой придет, быстро на ноги поставит. Да я и сама понимаю, что вставать надо. На свадьбе должна быть, хочу посмотреть, какая ты будешь нарядная. Платье-то примеряла уже?

– Да, вчера.

– Красивое?

– Как у Диляры было, даже лучше.

– Ну вот, опять плачет, только этого не хватало. Салихат. Салихат!

Я, нагнувшись над колыбелькой, прячу лицо, чтобы Жубаржат не видела моих слез. Но она зоркая. А может, распознала эти самые слезы в моем голосе, шайтан их заведи. Вот ведь, а я была уверена, что уж все выплакала.

– Смирись, – говорит Жубаржат, и ее голос необычно тверд. – Это только вначале тяжело, потом полегчает. Родишь первенца, если Аллах пошлет мальчика, тебя уважать станут, муж не так сильно будет бить. По хозяйству ты управляешься, все хорошо делаешь, Расима-апа порадует такой помощнице.

– Мы с тобой и видеться не будем, – горько шепчу я, вглядываясь в личико Алибулата и представляя, что это мой собственный сынок, тот первенец, за которого мне будет уважение.

– А родник на что? За водой-то теперь мне ходить. Дочки еще не скоро подрастут.

– Ведь и правда, сколько теперь тебе лишней работы делать...

– Без тебя я бы с самого замужества все одна делала. Тебе теперь тоже достанется, только успевай вертеться. Дом-то у них огромный: и кур держат, и сад фруктовый. Правда, невестка Джамалутдина-ата по хозяйству помогает, да только кто знает, добрая она или злая, ты ведь младшей в семью войдешь, а ну как будут тобой помыкать... Ну вот, опять расплакалась, а я-то хороша, отними шайтан мой язык, говорю всякий вздор! Ты меня не слушай, подружись с ней, она ведь тоже молоденькая, и деток у нее пока нет. Так что вместе как-нибудь...

– Принесу чаю.

Опрометью выскакиваю из комнаты, не слушая возражений Жубаржат, но вместо кухни бегу в свою комнатку, падаю на топчан и даю волю слезам, чтобы к возвращению отца предстать перед ним спокойной и безучастной – какой он привык меня видеть все эти дни.

Пути назад нет, я стала женой Джамалутдина Канбарова. Несколько часов назад сельский мулла совершил над нами никах и свадебный пир в самом разгаре. Мы сидим за длинными столами в просторном дворе Джамалутдина. Столы поделены на мужские и женские. Для пожилых родственников и старейшин устроен отдельный стол на небольшом возвышении, туда подносят самые вкусные блюда и в первую очередь. Бьют в тамбурины, кто-то танцует в центре двора, но в основном все едят и пьют. Я ничего не ем, только иногда делаю глоток воды из стакана, который стоит рядом с моей нетронутой тарелкой.

Мне жарко, солнце палит, на мне плотное платье до пят, шаровары и фата, скрывающая волосы и лицо. Я не смотрю по сторонам, не слышу, что говорят все эти женщины, что склоняются ко мне и, должно быть, поздравляют – они улыбаются, кивают и ободряюще похлопывают меня по плечу. Раньше я не думала, что настанет момент, когда я не смогу чувствовать ни боли, ни страха, ни запахов, ни звуков. Осталась только жара, но я с ней почти свыклась, и она мне не досаждала. Я боюсь только одного: что на глазах у гостей потеряю сознание. В детстве я несколько раз теряла сознание, когда отец чересчур сильно избивал меня палкой. Просто проваливалась в темную липкую тишину, а спустя какое-то время открывала глаза и понимала, что наказание закончилось, осталась лишь боль от перенесенных ударов. Но потеряй я сознание сейчас, то, когда приду в себя, ничего не закончится. Наоборот, все только начнется. Я набираю в грудь больше воздуха и снова делаю глоток. На еду смотреть не могу, хотя ничего не ела со вчерашнего утра. От всех этих запахов и вида дымящихся тарелок у меня спазмы в животе. Женщины, помогавшие с готовкой, превзошли сами себя: жарили, варили и пекли целых три дня. Шампанское и водка льются рекой. Конечно, алкоголь пьют только мужчины, у женщин на столах вода и лимонады.

Рядом со мной, по обычаю, должен сидеть муж. Нас должны были посадить за отдельный стол, чтобы все на нас смотрели, но Джамалутдин решил иначе. Он остался на мужской половине, ко мне

подошел только один раз и спросил, все ли в порядке, а когда я поспешно кивнула, сразу ушел. И вот теперь он среди мужчин, громко смеется и ест шашлык. Я время от времени украдкой смотрю на него, но не дольше секунды, иначе мне совсем дурно станет. Как хорошо, что нас не посадили рядом. Тогда бы я уж точно сознание потеряла.

Чья-то рука, унизанная золотыми кольцами, кладет мне на тарелку кусок баранины из плова. Слегка поворачиваю голову влево – это Расима-апа. Она широко улыбается, а у самой в глазах такое, что я поспешно отвожу взгляд.

– Что не ешь ничего? Так не годится, дочка. Силы тебе сегодня понадобятся.

Она подмигивает, слышится женский смех.

Я вспыхиваю, осознав смысл ее намека, послушно беру кусок мяса, подношу ко рту. С мяса капает жир, от густого запаха баранины тошнота подкатывает к горлу, и я поспешно кладу его обратно, вытираю пальцы о край скатерти. Расима-апа хмурится и обиженно поджимает губы, но мне все равно. Отщипываю от лепешки кусочек и кладу в рот, пытаюсь проглотить, но сухое тесто обдирает горло и просится обратно. Ловлю на себе взгляд невестки Джамалутдина. Она сидит напротив меня, на ней нарядное платье и расшитый золотыми нитями платок. Взгляд у Агабаджи равнодушный: ни любопытства, ни сочувствия, а ведь нам жить под одной крышей. Личико хорошенькое, но слишком худое и бледное. Выглядит она как четырнадцатилетняя, хотя на самом деле старше меня на год. Агабаджи рассеянно ест чуду и запивает лимонадом. Когда она встает, чтобы дотянуться до блюда с курзе^[2], я понимаю, что она беременна. Срок, наверное, еще не очень большой, но под платьем отчетливо обозначился округлый животик.

Ищу глазами Диляру. Она должна сидеть за соседним столом, но сейчас ее место пусто, она куда-то отлучилась. Мы так давно не виделись, я хочу обнять ее, расспросить, как у нее дела. Надеюсь, получится, если не сегодня, то хотя бы завтра. Диляра и ее муж останутся ночевать в доме моего отца, так же, как и другие родственники, приехавшие из соседних сел. Завтра второй день свадьбы, на который по традиции приходят только самые близкие люди.

Кто-то касается моего плеча. Я вздрагиваю, почему-то уверенная, что это Джамалутдин. Но вместо него вижу Диляру и вздыхаю от

облегчения.

– Сестренка, – говорит она. – Поздравляю.

Говорит так, будто и впрямь за меня рада. Будто это самый счастливый в моей жизни день.

– Иди к пристройке за домом. Я сейчас туда приду, – шепчу, чтобы не услышала Расима-апа.

В глазах Диляры сомнение, но, помедлив, она все же кивает и отходит. Я выжидаю минут пять, потом поднимаюсь, бормочу что-то насчет острой надобности и покидаю свое место за столом, провожаемая любопытными женскими взглядами. По счастью, столы мужчин далеко, и вездесущее око отца не может уследить за тем, что я нарушаю правила. Хотя отныне я принадлежу не отцу, а Джамалутдину, страх перед неограниченной властью Абдулжамала еще долго будет меня преследовать. Но мне не вмоготу, хочу поговорить с сестрой. Быть может, тогда станет чуточку легче.

Диляра ждет, спрятавшись за дверью пристройки. Здесь тихо, звуки музыки и голосов со двора сюда почти не доносятся. Втаскиваю сестру внутрь и стягиваю с себя ненавистную фату. Мои волосы слиплись от пота, он стекает тонкими струйками за высокий ворот платья. Диляра прижимает меня к себе крепко-крепко. Как же я по ней соскучилась! словно не год прошел с момента ее замужества, а целая жизнь.

– Как ты, Салихат? – ласково спрашивает Диляра.

Этого достаточно, чтобы слезы, скопившиеся внутри, хлынули рекой. Я плачу и не могу остановиться. Мне кажется, вместе с рыданиями из тела выходит моя душа. Диляра напугана, она пытается меня успокоить, усаживает на стопку пустых джутовых мешков, дует мне в лицо, говорит, что я испорчу макияж и платье. Все без толку. Проходит, должно быть, не меньше десяти минут, прежде чем рыдания начинают стихать. Вот зачем, оказывается, я позвала Диляру – чтобы она задала всего один вопрос, который заставил слезы вырваться наружу, словно гной из нарыва.

– Ну что ты, что? – Диляра берет мое лицо в ладони и заглядывает в глаза. – Перенервничала, бедняжка? Жарко тебе, новые туфли жмут? Живот болит?

– Я не хочу за него... – Мои губы снова начинают трястись, но слез уже нет, они все вытекли.

– Но ведь ты уже его жена, дурочка, – ласково говорит Диляра. – Ничего тут не поделаешь. Радоваться надо, ты теперь замужня женщина.

– Ты знаешь про его первую жену? – Я в упор смотрю на сестру.

Она опасливо озирается на дверь и поспешно – слишком поспешно – отвечает:

– Ничего не знаю. Только то, что она умерла. Женщины в наших краях часто умирают, Салихат. Но с тобой все будет хорошо.

– Я его боюсь. Боюсь того, что будет вечером. Мне ведь есть чего бояться, да?

– Нет, – твердо отвечает Диляра и ставит меня на ноги. – Нечего, если ты сейчас же вернешься на свое место. А вот если тебя найдут здесь зареванную, нам обоим достанется.

– Тебе повезло. Назар и пальцем тебя не трогает...

– Одну пощечину я уже заработала, – усмехается Диляра. – Но я ее заслужила. Правда, Назар потом прощения просил, и я простила, а что еще оставалось?

– И он у тебя такой красивый, не то что Джамалутдин...

– Твой муж тоже красивый, Салихат, – отвечает Диляра, осторожно промокая мне лицо подолом длинной юбки. – Ты разве не заметила?

Я смотрю на сестру в изумлении. Должно быть, от жары у нее помутился рассудок. Джамалутдин – красивый?

– То есть я, конечно, не заглядывалась на него, – поспешно добавляет Диляра. – Но у многих мужья куда страшнее, Салихат.

Осмысливаю ее слова, пока Диляра приводит меня в порядок. Признаюсь, я тоже сегодня украдкой смотрела на мужа, и не один раз, а целых три или четыре. Мне он показался очень высоким – выше моего отца почти на голову, – широкоплечим и крепким. Волосы у Джамалутдина темно-русые и слегка вьются у шеи и на висках, кожа довольно светлая, особенно по контрасту с темной короткой бородкой. Нос длинный и широкий, губы плотно сжаты, как будто он сильно разозлился. Но если Джамалутдин начинает смеяться, вся суровость исчезает, и он перестает казаться таким старым, хотя на самом деле ему уже сорок два года.

– Ну вот теперь почти хорошо. – Диляра отстраняет меня и критически разглядывает. – Можешь возвращаться. Тебя наверняка

уже хватились. И не плачь больше.

Я послушно направляюсь к двери, но Диляра меня удерживает.

– погоди. Что еще хотела сказать... – Она краснеет. – У меня будет маленький. Зимой...

Я охаю и кидаюсь ее обнимать. Теперь свекровь перестанет нашептывать Назару, чтобы вернул бракованную жену и взял ту, которая способна понести. Диляра смущенно смеется и отрывает мои руки от своей шеи.

– Ты меня задушишь. Ну все, хватит! Пора возвращаться.

Расима-апа встречает меня враждебным взглядом. «Где тебя носит?» – вопрошает этот взгляд.

– Живот прихватило, – не задумываясь, вру я.

– С чего бы вдруг? Ты ведь ничего не ешь, – подозрительно щурится она.

– Это еще с вечера. Должно быть, от волнения.

На этот раз она мне верит. А я вдруг отчетливо понимаю, что отныне моей жизнью будет управлять куда более беспощадная сила, чем отец.

И от этой мысли живот болит уже по-настоящему.

Праздник продолжается до позднего вечера. Когда на столах почти не остается еды и молодежь уже устала танцевать под дробный перестук тамбуринов, а старики дремлют сидя, опершись на поставленные между ног суковатые палки, ко мне подходит Джамалутдин, и разговоры вокруг смолкают.

Я ждала этого момента со смирением приговоренного к смерти, поэтому медленно поднимаюсь, опустив глаза, не в силах посмотреть на человека, который по воле Аллаха и с благословения муллы получил безграничную власть надо мной.

Расима-апа тоже поднимается, на ее жирных от плова губах блуждает усмешка, глаза блестят в предвкушении чего-то, что мне еще не ведомо, но скоро – очень скоро – станет моим кошмаром. Я это чувствую, хотя не могу знать наверняка. А Расима-апа точно знает, не зря она так улыбается. Она много лет прожила замужней, а когда ее муж умер, Джамалутдин взял ее в свой дом смотреть за хозяйством. Дочери Расимы-апа давно замужем, а сыновей Аллах ей не дал. Поэтому Джамалутдин ей вместо сына.

Под взглядами гостей мы идем к дому. Внутри я еще не была. В другое время я бы с любопытством стала смотреть по сторонам, шутка ли: дом самого уважаемого человека в селе. Но теперь этот человек – мой муж, и я покорно иду следом за ним туда, где пройдет наша брачная ночь. Расима-апа замыкает маленькую процессию.

Открывается дверь, меня вводят в комнату, зачем-то сунув в руки белый платок, и дверь захлопывается. Расима-апа и Джамалутдин остаются снаружи, я слышу их приглушенные голоса, но не могу разобрать, что они говорят. Какое-то время я стою в оцепенении, потом осматриваюсь. Почти всю ширину комнаты занимает кровать. Я впервые вижу такую большую. Она не старая и продавленная, как кровать Жубаржат, и не узкая и низкая, как кровать отца. На ней высокий матрац, и несколько подушек, и деревянная спинка в изголовье. Еще здесь шкаф, два стула и тумбочка. На тумбочке настольная лампа, кувшин с водой и Коран.

Свет от лампы почти не освещает комнату, по углам прячутся тени, окно занавешено. Должно быть, оно выходит на заднюю часть двора – голоса гостей почти не слышны. А может, они уже устали и просто ждут, когда им вынесут доказательство моей невинности, чтобы разойтись по домам. Меня бьет озноб, и я обнимаю себя руками, пытаюсь согреться. Неужели то же самое чувствовала и Диляра, когда ее привели в спальню Назара и оставили одну? А Жубаржат? А моя мать? О Аллах, почему ты посылаешь своим дочерям такие страшные испытания?.. Я кладу платок на кровать, раздумывая, зачем Расима-апа дала его мне. Может, чтобы вытирать слезы, которые потекут от боли?..

Входит Джамалутдин. Он плотно закрывает за собой дверь. Это твой муж, говорю я себе, и поднимаю на него глаза. Я ожидаю чего угодно: злого окрика, удара, любого насилия, которое отныне может безнаказанно совершаться надо мной. Но чего я никак не ожидаю, так это того, что он станет улыбаться.

– Сними фату.

Я снимаю фату. Джамалутдин берет ее из моих безвольных рук и бросает на пол. Потом подходит почти вплотную и приподнимает пальцами мой дрожащий подбородок. Теперь, вблизи, я понимаю, что он еще выше, чем я думала, – моя голова на одном уровне с его

грудью. Какое-то время он смотрит мне в глаза, пока я не выдерживаю и не отвожу взгляд. Тогда он усмехается и убирает руку.

– Боишься?

Я киваю. Конечно, мне страшно. Страшно так, что ноги подгибаются, а сердце бьется где-то в горле. Может, все-таки стоит потерять сознание, а потом прийти в себя и обнаружить, что все самое плохое уже закончилось?.. Но нет, Джамалутдин не позволит мне упасть в обморок. От него словно исходит мощный поток, который парализует мою волю и заставляет недвижно стоять перед ним, несмотря на жгучее желание убежать.

– Ты меня боишься или того, что сейчас будет?

– Вас, – я с трудом разжимаю запекшиеся губы, – и того, что будет...

Джамалутдин не пытается меня успокоить, заверить, что мои страхи напрасны. Вместо этого он говорит:

– Почему ты такая изможденная? Выглядишь совсем больной. Когда мы встретились у магазина в прошлом месяце, на тебя куда приятней было смотреть.

У магазина?! Мысли лихорадочно скачут. Разве я в том месяце ходила в магазин?.. Да, кажется, отец посылал за чем-то... Но, разумеется, я не могла видеть Джамалутдина, даже если он прошел совсем рядом. Я ведь всегда хожу по селу, низко опустив голову.

Мой муж ждет ответа. О Аллах, верни мне мозг обратно, хотя бы на минутку!..

– Я... со мной все в порядке, Джамалутдин-ата. Просто... Жубаржат, моя мачеха, она недавно родила и пока не поправилась. Она должна была прийти на свадьбу, но не смогла, вот я и помогала и по хозяйству, и с детьми. Времени, чтобы поесть, совсем не оставалось...

Слова льются из меня неудержимым потоком, вырвавшись из плена. Джамалутдин кивает, удовлетворившись ответом. Потом говорит:

– Там, за дверью, Расима-апа. Она ждет, когда мы начнем. Сказала, что не уйдет, пока не удостоверится, что все случилось, и не примет платок с доказательством твоей невинности. Я могу сказать ей, чтобы ждала в своей комнате, если хочешь.

Я потрясенно смотрю на Джамалутдина. С каких пор муж интересуется пожеланиями новоиспеченной жены? Он проверяет меня,

вот что. Наверное, это часть ритуала брачной ночи. Поэтому я покорно отвечаю:

– Как вам будет угодно, Джамалутдин-ата.

Он раздраженно ходит по комнате, заложив руки за спину, потом останавливается напротив меня и чуть повышает голос.

– Я спрашиваю, чего ты хочешь, Салихат.

– Я сделаю так, как хотите вы. Я должна выполнять все, что вы мне велите.

– Хорошо. – Он усмехается. – Благодарение Аллаху, я выбрал себе послушную жену. Но сейчас не время строить из себя мученицу. Ты вот-вот в обморок грохнешься от ужаса, а в мои планы вовсе не входит возиться с бездыханным телом.

Как только Джамалутдин это говорит, я сразу вспоминаю, что он убил свою первую жену, и мне становится по-настоящему страшно. Видимо, он что-то понимает по моему лицу, потому что решительно подходит к двери, открывает ее, делает несколько сердитых распоряжений и, не слушая визгливых возражений Расимы-апа, которая все это время наверняка прижимала ухо к замочной скважине, захлопывает дверь. Потом тянет меня за руку в сторону кровати.

– Иди сюда.

Я подчиняюсь. А что остается делать? Все, что бы ни происходило дальше, я покорно приму с именем Аллаха на устах. Если будет очень больно (хотя почему и где именно, никто не объяснил), просто крепче сожму зубы и потерплю, как терпела побои отца. Жубаржат сказала, что побои больнее, а уж она точно знает, о чем говорит. Раз у женщин потом рождаются дети, значит, все у них внутри после брачной ночи остается невредимым.

Джамалутдин садится на кровать, ставит меня перед собой и зажимает с двух сторон ногами. Ноги у него мощные, обтянутые полотняными штанами. Я чувствую тепло его тела сквозь ткань. Его руки, лежащие на моей талии, тоже теплые и совсем не злые. Он расслаблен, но я чувствую силу его мускулов, он весь как твердая скала, а еще от него исходит странный слабый запах – чего-то сладковатого и терпкого.

– Ты знаешь, что происходит в первую ночь между мужем и женой? – спокойно спрашивает Джамалутдин.

– Только то, что я должна быть покорной и терпеть.

– Терпеть? – Его брови удивленно взлетают.

– Мне будет больно. Так мачеха сказала. И я должна делать все, что вы мне велите. Тогда вы меня не побьете.

– Я не собираюсь тебя бить, Салихат. Может, когда-нибудь, если ты серьезно провинишься. Но ты не провинишься, правда?

Я мотаю головой. Кто, будучи в своем уме, посмеет ослушаться человека, убившего свою жену? Уж в чем-в чем, а в этом он может не сомневаться.

– Хорошо. А насчет боли... – Джамалутдин умолкает, я напряженно жду. – В какой-то момент я причиню ее тебе. Но в твоих силах сделать так, чтобы ты этого почти не почувствовала.

Теперь я слушаю с жадным любопытством. Во мне зарождается робкая надежда: быть может, все совсем не так ужасно? Но что именно муж потребует от меня, чтобы уменьшить боль? Не слишком ли велика будет плата? Теперь уже я могу ожидать от него чего угодно. Вряд ли найдется много мужей, ведущих со своими женами такие разговоры в первую брачную ночь.

– Ты должна расслабиться и позволить мне делать то, что я сочту нужным.

Разумеется, муж волен делать со мной все, что захочет. Так же можно сказать про снег: он белый, а про траву: она зеленая. Ведь это очевидно. Должно быть, он снова меня проверяет. Я поспешно киваю и вдруг с изумлением поднимаю на него глаза. Нет, уши меня не обманывают: Джамалутдин действительно смеется.

– Похоже, ты заранее решила соглашаться со всем, что я говорю.

Меня так и подмывает спросить: «А как иначе, если я не хочу быть убитой, как Зехра?» Но я плотно смыкаю губы, а для верности прикусываю кончик языка, чтобы вопрос не вырвался наружу.

Но в следующий момент мне уже не до вопросов, потому что Джамалутдин начинает снимать с меня платье. Он уверенно расстегивает крючки и пуговицы, распускает пояс, а потом стягивает платье через мою голову, и я остаюсь перед ним в одних шароварах и туфлях, таких тесных, что пальцы в них давно онемели. Я закрываю глаза. С этой минуты я уже не невинная девушка, ведь мужчина увидел меня без одежды. Правда, шаровары пока на мне, но и они, я уверена, вскоре отправятся за платьем на пол. Ай, зачем он проводит ладонями мне по спине и груди? Зачем запускает пальцы в мои распущенные

волосы? Зачем сжимает ладонью затылок, касается мочек ушей с вдетыми в них золотыми серьгами – его собственным подарком?..

Сильные руки Джамалутдина отрывают меня от пола, словно пушинку, и укладывают на кровать. Я с немой мольбой смотрю на мужа, охваченная паникой, но он качает головой:

– Тебе лучше закрыть глаза.

Дальнейшее я ощущаю смутно, как будто время остановилось и пространство сжалось до размеров кровати. Вдруг неожиданно становится легко ногам, я понимаю, что туфель на мне уже нет, и шаровар тоже. Моя кожа покрывается мурашками от холода и страха, а щеки пылают от стыда. Я чувствую себя вдвойне раздетой из-за того, что накануне с моего тела тщательно удалили все волоски, даже в таких местах, на которые я никогда не смотрю из-за стыдливости. Тонкие узоры хной на ступнях и ладонях, нарисованные специально к свадьбе, нисколько не защищают от наготы.

Джамалутдин разглядывает меня, смотрит бесконечно долго, лучше бы поскорее причинил боль, которую я жду уже с нетерпением, ведь после нее все закончится. Зачем он меня рассматривает? Во мне нет ничего такого, чего он не видел у своей первой жены. Я знаю, что у меня маленькая грудь – меньше, чем у Диляры или Жубаржат, и кожа смуглее, чем у большинства девушек, а бедра узкие – пожалуй, слишком узкие. А вдруг он решит, что я не смогу родить здорового ребенка, и вернет меня отцу?.. От ужаса я снова открываю глаза, забыв про приказ Джамалутдина, и вижу совсем близко его лицо, которое странно изменилось, стало таким напряженным, будто он увидел врага и сейчас набросится на него. Из его груди вырывается приглушенный стон. Что с ним? Может, внезапно заболело в животе? Ведь он уже почти старик, наверное, часто болеет... Но Джамалутдин совсем не похож на больного. Он накрывает ладонями мои груди и сжимает их, так что я от неожиданности и изумления резко приподнимаюсь.

– Лежи спокойно, – говорит Джамалутдин хриплым голосом, совсем как у отца, когда тот подхватил простуду прошлой зимой.

– Простите! Клянусь, я не хотела...

Я зажмуриваюсь в ожидании удара, но вместо этого Джамалутдин начинает меня целовать. Я чувствую его дыхание, оно пахнет шашлыком и водкой. Отвращение накатывает волной. Не знаю, долго ли смогу выдержать, но, к счастью, Джамалутдин не задерживается на

моем лице, а перемещается ниже, и теперь целует грудь и живот, не переставая гладить. Так продолжается какое-то время, в тишине комнаты слышно только хриплое дыхание Джамалутдина, и вдруг я понимаю, что мое тело неожиданно расслабилось. Мне становится тепло, потом жарко. По телу проходит странная волна, и в животе что-то сладко сжимается, будто я проглотила маленькую пружинку и она меня щекочет изнутри. Странно, я все еще жду боли, но больше ее не боюсь. И даже когда Джамалутдин разводит в стороны мои сжатые ноги и кладет руку на самый низ живота, это не вызывает во мне протеста, и мысль о полном подчинении, о котором говорила Жубаржат, уже не кажется такой ужасной. Мое дыхание становится таким же учащенным, как у Джамалутдина. О Аллах, что же со мной такое? Этот человек всего за несколько минут подчинил меня своей воле, лишил способности к малейшему сопротивлению и делает вещи, о которых я не могла даже помыслить. Я чувствую тяжесть тела Джамалутдина, он прижимает меня к кровати, так, что я не могу пошевелиться. Что-то твердое и горячее упирается в меня, а потом проскальзывает внутрь, туда, откуда каждый месяц течет кровь из-за недомоганий, – и замирает.

И тут происходит невероятное. Как будто это не я, а кто-то другой стал управлять моим телом, только бедра сами собой приподнимаются резким движением навстречу тому непонятному, что замерло в ожидании. От острой боли я вскрикиваю, из глаз брызжут слезы. Я не сразу понимаю, что это та самая боль, она закончилась так же внезапно, как и возникла. Но Джамалутдин не отпускает меня, наоборот, еще глубже вдавливая в кровать, его мощное тело приходит в движение и заставляет меня двигаться вместе с ним. Кажется, что проходит бесконечность, прежде чем я слышу стон Джамалутдина, и он откатывается в сторону.

Потрясение настолько велико, что обычные ощущения возвращаются ко мне медленно, очень медленно. Сначала я чувствую холод от того, что лежу обнаженная, а Джамалутдин больше не накрывает меня. Потом – струйки пота – мои или его? – стекающие по телу. И только после этого – жжение внизу живота, будто кто-то нахлестал там крапивой, да еще и внутрь положил немножко, и что-то липкое между ног. Джамалутдин встает с кровати, я поспешно отвожу глаза – муж полностью голый, как и я. Он что-то вытаскивает из-под

меня. Оказывается, все это время я лежала на том самом платке, который дала мне Расима-апа. Джамалутдин рассматривает большое красное пятно, расплывшееся по кипенной белизне, и довольно смеется, а я облегченно вздыхаю. Инстинктивно понимаю: все в порядке, позора не будет, меня не вернут отцу.

Мне хочется плакать от облегчения, и не только потому, что на платке кровь. Джамалутдин идет к двери, открывает ее и что-то кричит. Потом отдает платок какой-то женщине, которая пытается заглянуть внутрь, и возвращается к кровати. Садится рядом и гладит меня по бедру.

– Все хорошо, – говорит мне Джамалутдин. – Теперь спи. Спи.
Он укрывает меня простыней и уходит.

* * *

На следующий день застолье продолжается. Правда, из гостей теперь только родственники да близкие друзья родственников и жениха. Сегодня Джамалутдин сидит рядом со мной, я чувствую его присутствие, но оно уже не пугает меня, как накануне. Иногда я ловлю на себе его внимательный взгляд, и тогда мои щеки становятся пунцовыми от смущения. Я все еще не оправилась от поздравлений, встретивших меня утром, когда я вышла к гостям в новом платье из бордовой парчи, расшитой серебряными нитями. Я совсем не ожидала, что женщины кинутся ко мне с поцелуями и станут говорить, что я не опозорила честь семьи, с такой гордостью, словно речь идет об их собственной чести. Мужчины держались в отдалении, но я видела, как они пожимают руку Джамалутдину, будто в том, что на платке оказалась кровь, есть и его заслуга. Единственный из мужчин, кто подошел ко мне, был отец. Я по привычке вжала голову в плечи, ожидая окрика или удара, но он неожиданно обнял меня и поцеловал в лоб, обдав запахом табака и лука, и пробормотал, что не сомневался в моем целомудрии.

Не понимаю, что такого в этом пятне крови. Оно лишь подтвердило очевидное. Разве в том, что природа сотворила меня невинной, есть хотя бы капля моей заслуги? Неужели гости всерьез думали, что я могла позволить кому-то из мужчин сделать со мной

такое? Неужто кто-то посмел бы хоть пальцем ко мне прикоснуться, зная, что за это последует неминуемая смерть? Даже если бы этот сумасшедший подался в бега, его нашли бы на следующий день где-нибудь в горах, с перерезанным горлом. Когда-то подобное уже случалось в долине, но наказание за преступление было таким скорым и жестоким, что память о нем передается от отцов к мальчикам, чтобы те, когда вырастут, и думать не смели ни о чем таком.

Расима-апа сегодня особенно ласкова со мной, расстиляется шелком, улыбается и касается то плеча, то щеки, но я знаю – это напоказ, на самом деле она ждет не дождется, когда праздник кончится, и я поступлю в ее распоряжение. Мне неприятны эти улыбки и прикосновения, но я заставляю себя улыбаться в ответ. Каким-то внутренним чутьем понимаю: ни в коем случае нельзя наживать в ее лице врага, потому что мужчина всегда принимает сторону матери, даже если ему вместо матери – тетка.

Внизу живота саднит, но Джамалутдин сказал, что так должно быть и это пройдет. Под утро он вновь пришел в спальню и делал это со мной. Правда, сначала спросил, нужно ли мне совершить омовение и намаз, и когда я сказала – «да», дал мне достаточно времени. На этот раз мне почти не было больно, да и то лишь вначале. А потом стало приятно, я опять чувствовала теплые волны внутри. Он спросил: «Тебе хорошо?» Но мне стыдно было в таком сознаться, и я промолчала.

Когда Джамалутдин ушел, я задремала и проснулась оттого, что Расима-апа стучала в дверь и говорила: пора выходить к гостям. Я испугалась, вдруг она войдет и увидит меня голой, поэтому завернулась в простыню, подошла к двери и сказала, что скоро выйду. А сама не знала, что делать. На второй день свадьбы полагается надевать другое платье, не белое, да только где оно? В отчаянии я натянула вчерашние шаровары и уставилась на свою обнаженную грудь, как будто видела ее впервые. Нестерпимо хотелось в туалет. Время шло. Снова послышались шаги, и Расима-апа спросила из-за двери, не умерла ли я, а если живая, когда соизволю явиться. В ответ смогла выдавить из себя что-то невразумительное, ожидая, что сейчас тетка Джамалутдина ворвется и начнет таскать меня за волосы, как на глазах у всех это делала наша соседка Муминат-апа со своими невестками, когда учила их уму-разуму. Но вместо Расимы-апа в комнату вошел мой муж.

– Что происходит? – спросил он, нахмурившись, глядя на меня, закутанную в простыню, с высоты своего роста. – Зачем заставляешь уважаемых гостей ждать?

Он не бил меня, даже не замахнулся, но и слов, сказанных суровым голосом, было достаточно, чтобы я расплакалась. Всхлипывая, спрятав лицо в ладони, призналась, что не знаю, где моя одежда, а еще давно хочу в отхожее место. Я была уверена, что от моих слез и беспомощности Джамалутдин разозлится еще сильнее, но вместо этого он рассмеялся, взял меня за руку, подвел к шкафу и распахнул дверцы. Я увидела много платьев, и юбок, и кофт, а на отдельной полке платки – повседневные и нарядные. Внизу стояли шлепанцы и туфли. Все новехонькое, только из магазина.

– Почему не догадалась заглянуть в шкаф? – спросил Джамалутдин, снимая с плечиков парчовое нарядное платье, сшитое для второго дня свадьбы.

– Я думала, это ваш шкаф... и в нем ваши вещи.

– О Аллах, за что послал мне глупую жену? Ведь это женская половина, Салихат. Здесь не может быть моих вещей.

Я униженно кивнула. Простыня на мне разошлась, обнажив живот и часть груди, и лицо у Джамалутдина опять стало напряженное, как будто он увидел врага. Но он отвернулся и приказал, чтобы я одевалась быстрее и выходила в коридор.

Уборная оказалась в задней части дома. Только сделав свои дела, я поняла, насколько сильно мне этого хотелось еще с вечера. Но я была так напугана всем происходящим, что обратила внимание на позывы, только когда терпеть стало невозможно. Мне пришлось снова раздеться, чтобы совершить омовение, которого я не делала со вчерашнего утра, но надеялась, что Аллах не слишком на меня разгневается. Когда я вышла во двор, солнце стояло уже высоко и гости пировали.

И вот я снова сижу на виду у всех. Вчера мне не хотелось есть, а сегодня живот сводит от голода. Поэтому я кладу себе на тарелку разных кушаний и ем, стараясь выглядеть достойно и не испачкать платье. Джамалутдин ест со мной наравне. Видно, ночь забрала у него много сил. Никому не признаюсь в ужасном: мне понравилось то, что случилось в брачную ночь, и я совсем не против, если и следующей ночью Джамалутдин придет ко мне. Но сказать о таком – значит

сообщить во всеуслышание, что я развратная. Я слышала, как отец называл этим словом одну глупую девушку, которую застали в сомнительной компании с приезжим парнем, – плохо же для нее все закончилось. Вдруг первая жена Джамалутдина тоже была развратная? Не хочу, чтобы он и меня убил, поэтому буду делать вид, что просто покоряюсь его воле, как велит Аллах, Иншалла.

Оглядываю сидящих за женскими столами, и вдруг среди множества лиц вижу Жубаржат. Вай, пришла – здоровая! Вчера я так расстроилась, узнав от тети Мазифат, что Жубаржат не смогла выйти из дому из-за слабости. Наверное, тетя дала ей особенно сильный отвар, придающий сил. Жубаржат бледная, но глаза подведены сурьмой, и платье на ней новое, нарядное, сшитое из отреза, подаренного мужем на рождение Алибулата. Она улыбается мне в ответ, но почему-то неуверенно. Наверное, думает, я мучилась всю ночь. Ну, ей можно сказать правду, Жубаржат мне вместо близкой подруги, никому мою тайну не выдаст.

Дожидаюсь момента и подхожу к ней. Она целует меня и поздравляет, а у самой в глазах невыплаканные слезы, и платок повязан так, что полностью скрывает шею, плечи, даже щеки, оставляя открытым лишь часть лица. Жубаржат хочет что-то сказать, но вокруг так много женщин, все едят, смеются, громко разговаривают, играет музыка, поэтому я отзываю ее в сторонку, как вчера Диляру. Но едва мы начинаем говорить, слышится окрик отца. Мы обе вздрагиваем и поворачиваемся на голос. Отец от ворот подает Жубаржат знак подойти. Жубаржат спешит, даже спотыкается, так боится замешкаться. Я иду следом. Я больше не боюсь отца. Почти не боюсь. Внутри навсегда останется ужас, который он сумел внушить мне с самого рождения.

– Нам пора, – говорит отец жене. – Идем, да.

Потом обращается ко мне:

– Передай мужу слова моего почтения и безграничного уважения, Салихат. А еще извинения за то, что не можем остаться. У меня неотложное дело. Завтра я непременно приду снова.

– Передам, – послушно говорю я.

Отец делает шаг к воротам, но Жубаржат стоит, переминаясь с ноги на ногу, и он оборачивается, хмуря брови.

– Или Аллах лишил тебя слуха, женщина?

– Одну минутку, Абдулжамал, – просительно говорит она. – Всего минутку, пожалуйста. Хочу попрощаться с Салихат. Когда мы теперь увидимся?

– Не заставляй меня ждать.

С этими словами отец выходит за ворота. Жубаржат порывисто меня обнимает, я ощущаю худобу ее тела сквозь платье.

– Как все прошло? – спрашивает она.

Мы обе понимаем смысл вопроса. Я чувствую, как лицо заливается краской.

– Все хорошо. Нет, правда! Мне даже понравилось... – Я запинаюсь, не в силах продолжать.

Жубаржат смотрит недоверчиво, в ее глазах вопрос: «Как такое может понравиться?» Но она, конечно, не решается спросить.

– И он не бил тебя? Я видела платок, столько было крови!

– Нет, и не собирается, если повода не дам. Как ты сама, Жубаржат? Уже не болеешь?

Она бросает испуганный взгляд на ворота, приближает ко мне лицо и шепчет:

– Абдулжамал заставил меня пойти. Я вчера не могла встать с кровати, ноги совсем не держали. Тогда он...

– Что? – страх сжимает мне горло. – Что он сделал?

– Схватил за волосы, швырнул на пол, а потом бил ногами, везде бил, кроме лица... – Жубаржат сдавленно плачет, дрожащими пальцами оттягивает край платка, и я с ужасом вижу на ее шее и груди припухлые багровые кровоподтеки. – По животу бил, из меня теперь столько крови течет... Тетя пыталась вмешаться, но ей дядя Ихлас не позволил, прогнал из комнаты, а сам запер дверь с той стороны, чтобы я не смогла убежать. Да я и не могла, сил не было подняться, просто лежала на полу и ждала, когда это закончится. Алибулатик так плакал в кроватке, так плакал... А когда Абдулжамал устал бить, я уж почти не дышала, и отовсюду шла кровь. Он сказал, что если завтра я не встану и не пойду на свадьбу, он меня убьет. И вот сегодня я встала, оделась и пошла. Поэтому жива, слава Аллаху.

– Жубаржат! – доносится с улицы грозный голос.

Мачеха вздрагивает всем телом и пропадает за воротами. Я даже ничего не успеваю сказать или поцеловать ее на прощание. Медленно возвращаюсь к столу. Джамалутдин-ата спрашивает, где я была.

Отвечаю, что провожала отца, и передаю слова Абдулжамала. Муж удовлетворенно кивает, проводы родителей – уважительная причина. Муж спрашивает, что мне положить на тарелку, но я не могу больше есть. Перед глазами стоит тело Жубаржат, скрюченное на полу, покорно принимающее удары. За что отец с ней так? Ведь она хорошая, послушная жена, рождает детей, не перечит ни в чем... Неужели и меня скоро ждет та же участь? Неужели мало быть покорной, и моя жизнь будет зависеть лишь от настроения мужчины, во власть которому я отдана?..

Проходит час за часом, а гости все едят и пьют. Молодежь танцует. Откуда только берут силы? Многие из них придут и завтра. Поистине, свадьба – серьезное испытание, не только для жениха с невестой, но и для гостей. Мои двоюродные сестры, Зарема и Зарифа, в кругу танцующих. Парни приглашают их чаще, чем других девушек. Конечно, ведь они городские, и одеты нарядно.

Старшей, Зареме, уже двадцать два. Почти старуха, еще немного, и ее никто не засватает. Поэтому она так призывно смотрит на парней, поэтому делает танцевальные движения на грани приличия. Стекланные бусы, нанизанные на шею в три ряда, громко звенят, широкий подол юбки разлетается в стороны, словно крылья заморской птицы. Сестра делает вид, будто внимание парней ей совсем неинтересно, будто она танцует только для себя и других девушек.

Зарифа, которая младше ее на два года, не такая нескромная. Она тоже хочет замуж, но понимает: вперед сестры ей нипочем не выйти. Поэтому она терпеливо ждет, когда придет ее очередь, и танцует больше для того, чтобы поддержать сестру, чтобы та поскорее уже нашла себе мужа.

Зря они стараются. В нашем селе им не на что рассчитывать. Уж если дядя Ихлас отверг городского жениха для Заремы, что говорить про местных парней? Дядя хмурится, поглядывая на дочерей. Зарема и Зарифа еще не знают, что, когда они вернутся домой, им придется пожалеть о том, что опозорили семью своими танцами. Дочерям такого уважаемого человека пристало скромно сидеть в сторонке, на приглашения парней отвечая опусканием глаз и чуть заметным качанием головы. Дядя считает, что только тогда есть шанс быть сосватанной приличным человеком. Приличный – это в равной степени обеспеченный и богобоязненный. Возраст, внешность и все

остальное, что важно для девушки, тут ни при чем. Даже городская жизнь не меняет сознание отцов девушек на выданье. Совсем немногие позволяют дочерям выбрать себе мужа по душе: симпатичного ровесника с добрым сердцем. Диляре повезло: она любит мужа, и муж любит ее, а теперь, когда на подходе ребенок, и вовсе станет на руках носить, а его матери придется умолкнуть.

Вот она, Диляра, уплетает чуду с бараниной. Теперь, когда я знаю ее тайну, мне легче на душе, и, если не думать о несчастной Жубаржат, я почти счастлива. Чувствую присутствие мужа рядом, и от этого кровь быстрее бежит по телу. Внезапная мысль пронзает меня: я ведь тоже могу сделаться беременной. Может, это уже произошло сегодня ночью? Ну конечно, ведь я стала замужней женщиной. Теперь даже отец не посмеет ничего мне сделать, если только Джамалутдин по какой-то причине не вернет меня домой. Надо подождать немного, и у меня появятся дети, а если Аллах снизойдет к нам особой милостью, то много детей, как у Жубаржат. Я еще не знаю страданий, которые испытывают женщины, производя дитя на свет, но буду просить Аллаха: пусть даст хотя бы одного ребеночка, чтобы Расима-апа не смогла обвинить меня в бесплодии.

Я еще не видела сыновей Джамалутдина. Пока мне довелось побывать только на женской половине дома, куда никто, кроме моего мужа, заходить не может. Да и он будет приходить, только если в комнатах нет посторонних женщин. Джамалутдин обязан заранее предупредить о своем появлении, чтобы гости успели покрыть головы платками или уйти, если мужья или отцы запрещают им находиться в одном доме с чужими мужчинами. Я надеюсь, что муж позволит, чтобы ко мне приходили девушки выпить чаю и поболтать. Правда, из подруг у меня только бывшие одноклассницы Генже и Мина, они еще не замужем. Вплоть до прошлой недели мы каждый день встречались у родника, обсуждали парней и делились новостями, и на все сельские праздники тоже ходили вместе.

Вот бы Жубаржат иногда заглядывала в гости, но отец не позволяет ей выходить из дому, да и где ей взять время? Теперь на Жубаржат готовка, уборка и все остальное, что раньше делала я. На руках младенец, и думаю, скоро она снова будет в тягости. Одна надежда на родник. На такой большой дом, как у Джамалутдина, требуется много воды, поэтому придется ходить за ней по два раза в

день, если не чаще. Можно сговориться с Жубаржат видетсь там. Нам хватит и десяти минут, пока ждем своей очереди за водой, чтобы поделиться новостями.

От зноя, сытной еды и переживаний прошедшей ночи клонит в сон. Я бы с радостью прилегла хоть на полчаса. Странно, когда я жила в родительском доме, такие мысли никогда не приходили мне в голову, даже когда я валилась с ног от усталости. Знала: если отец увидит прохлаждающейся, в живых мне оставаться недолго. В новом доме тоже нельзя расслабляться. Вряд ли Расима-апа позволит отдыхать, с таким-то хозяйством, тем более Агабаджи не может работать в полную силу. Я хочу, чтобы скорее закончились свадебные торжества и началась обычная жизнь, с установленными для каждого члена семьи обязанностями. Я готова работать так же, как работала в доме отца, и даже больше, лишь бы избежать обвинения в лени, ведь это второй по тяжести грех после бесплодия, за который молодую жену могут вернуть отцу.

Солнце клонится к закату, жара спадает. Женщины перестают подносить к столам еду, да никто и не может больше есть. Даже молодежь перестала танцевать, и Зарема с Зарифой чинно сидят рядом с матерью. Сегодня они вернутся в Махачкалу. У дяди Ихласа работа, которую он не может оставлять надолго. Я знаю, что в следующий раз увижусь с тетей Мазифат только на большом семейном празднике. Надеюсь, Зарема в скором времени выйдет замуж. Тогда и я смогу погулять на ее свадьбе.

Если, конечно, мне позволят поехать.

Уже неделя, как я замужем. Всего семь дней прошло с никаха, а мне кажется, будто целая вечность. Тут все чужое, и надо привыкать к новым порядкам и людям в доме. Первое время я ходила, будто во сне, постоянно все путала, мешкала с поручениями Расимы-апа и заработала от нее несколько обидных прозвищ, одно из которых – «нерасторопная лентяйка». Меня не отпускал страх, что я сделаю что-нибудь не то, или отвечу без должной почтительности, или еще как-нибудь провинюсь. Но постепенно все стало налаживаться, и теперь я боюсь уже не так сильно, даже начинаю находить маленькие радости в замужней жизни.

Дом Джамалутдина куда больше, чем дом отца, и поделен на две половины, на каждую из которых ведет свой вход. Мужская половина для Джамалутдина и его сыновей, женская – для Расимы-апа, Агабаджи, а теперь и для меня. На каждой половине своя уборная и комната для омовений, а кухня только на женской. Еще на нашей половине есть зала для гостей, куда могут приходить женщины, чтобы выпить чаю, почитать Коран или просто поговорить. В основном, конечно, приходят к Расиме-апа. Соседки целыми днями сидят на кушетках, болтают и смеются, а меня посылают на кухню за новой порцией чая и сладостей. Но я рада, когда у Расимы-апа гости. Тогда она не следит за каждым моим шагом, не обзывается и не раздает поручения. Тогда она ласковая, называет меня доченькой. Но едва за последней гостьей закрывается дверь, зло выбирается из нее, как подошедшее тесто из кастрюли.

Агабаджи странная. Просыпается поздно, идет на кухню за чаем с лепешками, со мной заговаривает только по необходимости. Лицо у нее после сна припухшее и совсем детское. Даже не верится, что она скоро станет матерью. Я пробовала подружиться с ней, спрашивала, когда ей рожать и как ей живется у Канбаровых, общается ли она с кем в селе (она ведь родом не отсюда), но Агабаджи отвечает односложно или вовсе отмалчивается. Вряд ли я ее чем-то обидела, поэтому решила, что у нее просто такой характер, и оставила попытки, хотя и расстроилась: надеялась, что у меня будет если не подруга, то хотя бы

собеседница. Расима-апа обращается с Агабаджи как с дочкой. Не ругает, не нагружает работой, спрашивает, не хочет ли она отдохнуть, хотя та и так большую часть дня проводит в своей комнате. Возможно, это потому, что Агабаджи носит ребенка. И когда я тоже понесу, Расима-апа и со мной станет добрее. Так хочется в это верить...

У Расимы-апа две комнаты. В одной она спит, а в другой хранит свои наряды, хотя непонятно, зачем они ей? Праздники на селе редкость, и обычно Расима-апа носит безразмерные темные платья одинакового фасона, ведь она вдова. В своих комнатах Расима-апа убирается сама, ни меня, ни Агабаджи туда не пускает. Наверное, боится за золотые украшения, которые носит на себе килограммами.

Муж Агабаджи, Загид, ничем не занимается. Считается, что он помогает отцу в бизнесе, но на самом деле он целые дни проводит на мужской половине, или болтается по селу с местными парнями, или уезжает куда-то. Он курит вонючие самодельные сигареты, и на его лице вечно блуждает высокомерная ухмылка. Мне не нравится, как он смотрит на меня, и я стараюсь реже с ним встречаться, а если это случается, накидываю на лицо край платка, оставляя открытыми только глаза. Кажется, пасынок раздевает меня взглядом, хотя смотреть так на женщину – харам.

Облик Загида, его манера смотреть и говорить совсем не соответствуют имени^[3]. Когда Джамалутдин дома, Загид берет его машину и куда-то уезжает, возвращаясь поздно вечером. Джамалутдин не возражает. Кажется, он не считает, что Загид должен вести себя как-то иначе. Муж велел слушаться Загида и стараться ему угождать, так что я чуть не каждый день готовлю любимые блюда пасынка – курзе и жижиган-чорпа^[4]. Загид требует, чтобы подавала еду тоже я, а не Агабаджи. Приходится носить кушанья на мужскую половину, укутавшись так, что открытыми остаются лишь кисти рук и часть лица. Я стараюсь подавлять неприязнь к Загиду, хотя начинаю думать, что уж лучше провести целый день в обществе Расимы-апа, чем десять минут в одной комнате с Загидом. В нем есть что-то очень неприятное, но я убеждаю себя, что мне это только кажется.

Младшему сыну Джамалутдина Мустафе тринадцать лет. Он хороший, скромный мальчик, считается одним из лучших учеников в школе, много занимается и каждый день читает Коран. Мустафа с почтением относится ко всем членам семьи, даже ко мне, хотя я

старше его всего на четыре года. Мулла местной мечети прочит мальчику духовное будущее, но Джамалутдин возражает, хотя сам богобоязнен. Я слышала, как он говорил сыну, чтобы выбросил из головы мысли об учебе в медресе, к которой склоняет его мулла. Похвально, что Мустафа так благочестив, ходит в мечеть и знает наизусть много сур, – но этого достаточно, чтобы быть правоверным мусульманином и отправиться, когда придет его время, в лучший из миров. Мустафа не посмел возразить, но я видела слезы в его глазах.

Всеми в доме управляет Джамалутдин, даже Расимой-апа, хоть она и делает вид, что главная. Он выдает ей деньги на хозяйство, требуя, чтобы она не экономила, но в то же время не тратила понапрасну. Поэтому каждый день на обед у нас мясное блюдо, мебель у всех удобная и новая, в зале мужской половины стоит большой телевизор, а на кухне холодильник с морозильной камерой. Во дворе фруктовый сад с инжиром, абрикосами и грушами и разные хозяйственные постройки. Расима-апа держит кур, сама за ними ухаживает и каждое утро собирает к завтраку свежие яйца.

Самое большое потрясение я испытала, когда Расима-апа отвела меня за дом и показала колонку, из которой берут воду. Вот почему я никогда не видела Канбаровых у родника. Мне бы радоваться, что не придется таскать тяжелые ведра, а я едва не расплакалась от отчаяния: как теперь видеться с Жубаржат? Она будет ждать меня один день и другой, а когда не дождется, подумает, что меня не выпускают за ворота даже за водой.

Отныне я словно птица в клетке. Продукты покупает Расима-апа, и нет больше причин, чтобы отлучиться со двора хотя бы ненадолго. Женщины должны сидеть дома, чтобы не давать поводов для грязных сплетен, говорит Расима-апа. Теперь я должна ждать, пока в каком-нибудь доме не решат играть свадьбу. Джамалутдина, как самого уважаемого жителя села, зовут на все свадьбы, и он никому не отказывает, ходит даже к беднякам, потому что так повелел Всевышний. Но женщины могут пойти только в такие же уважаемые дома, в каких живут сами, а в нашем селе мало таких: только дома Джамалутдина и моего отца.

Я не знаю, чем занимается Джамалутдин, как зарабатывает деньги. Он приходит ко мне только поздним вечером, после наступления темноты, и не остается на ночь – уходит спать на свою

половину. Рано утром он совершает намаз, потом снова ложится, и в восемь часов я приношу ему завтрак из свежее испеченных лепешек, масла, сыра и крепкого сладкого чая. Пока муж ест, я стою рядом, и он меня не отпускает на случай, если ему еще что-нибудь понадобится. Потом он уезжает, а я остаюсь прислуживать Расиме-апа и Загиду и заниматься делами по хозяйству, которых с утра до вечера не переделать.

Ночует Джамалутдин всегда дома, если только ему не нужно в Махачкалу. Раз в месяц, а иногда чаще, он уезжает в город на несколько дней. Но пока у нас медовый месяц, сказал Джамалутдин, поездок не будет. Не могу понять, обрадовало меня это известие или огорчило. Я все еще боюсь сурового и сдержанного мужа и испытываю трепет, когда он входит в комнату или обращается ко мне. Душа на миг сжимается от ужаса, но я говорю себе, что Джамалутдин ничего плохого не сделает, ведь со дня свадьбы прошла целая неделя, а он ни разу не ударил меня и даже не прикрикнул. Чтобы он не решил, будто я с ним недостаточно почтительна, я никогда не заговариваю первой, только отвечаю на вопросы, опустив глаза.

Джамалутдину это не нравится. Он просит хотя бы иногда смотреть на него и улыбаться, но я не могу. Внутри будто сидит кто-то, управляющий моим лицом и голосом. Я не могу вести себя иначе в присутствии мужчины, ведь шестнадцать лет прожила с отцом, который бил меня только за то, что я говорила чуть громче, чем он считал приличным, или «смотрела дерзко». В мою голову вбили: поднять глаза на мужчину, пусть даже близкого родственника, значит навлечь на себя неприятности. И вот теперь Джамалутдин требует, чтобы я смотрела ему в лицо и не использовала в ответах только «да» и «хорошо» или «как скажете, Джамалутдин-ата». Воистину, Аллах не думал о своих дочерях, когда создавал таких разных мужчин!

После вечернего омовения и намаза я жду мужа в спальне. На мне рубашка из тонкой ткани с вырезом на груди и короткими рукавами. Рубашку дал мне Джамалутдин, велел надевать перед сном. Если бы отец увидел меня в таком виде, я не прожила бы и пяти минут и отправилась в этой рубашке прямо в ад, потому что в рай меня бы в ней не пустили. Я была уверена, что Джамалутдину в ней не понравлюсь. Но он целовал мое тело сначала через рубашку, а потом уже без нее. Я не знала, как пережить такой стыд, просила перестать,

хотя сама хотела, чтобы он продолжал. Потом он долго находился внутри меня, и был так неистов, что из моих глаз брызнули слезы. Он спросил, почему я плачу. Я спрятала лицо в подушку и промолчала, стыдясь и боясь, что Аллах меня накажет за то, что муж делает со мной. Джамалутдин оторвал меня от подушки и не позволил отвернуться. Я закрыла глаза, но он велел:

– Смотри на меня.

Пришлось подчиниться. Я впервые видела лицо мужа так близко. Оказывается, глаза у него голубые, как небо в весенний день. Он чужой и далекий, как те страны, в которых я никогда не побываю, и в то же время он – мой муж. Это так странно, но еще удивительнее было то, что я прижималась к нему совсем голая, ощущая странный жар внутри, который занимается всякий раз, едва он ложится со мной.

– Почему плачешь? Больно, да? Скажи.

– Я уже не плачу, Джамалутдин-ата.

– Я спросил почему.

– Не знаю... не от боли, нет.

– Тогда что?

Я молчала. Я не знала, как отвечать. Пусть лучше ударит меня за то, что молчу, чем убьет за то, что я развратная.

Наверное, Джамалутдин почувствовал мой страх, его голос вдруг смягчился, и руки перестали сжимать меня с такой силой.

– Салихат, тебе нравится, когда я беру тебя.

Я тихо охнула, закусил губу и помотала головой.

– Помни, если солжешь мужу, двери рая закроются для тебя навсегда.

– Да, нравится. – Кровь так прилила к моим щекам, что еще немного – и хлынет через кожу.

Если бы он убил меня в тот момент, клянусь, я испытала бы облегчение. Но Аллах дал мне в мужья странного человека. Почему Джамалутдин смеется? Почему он всегда смеется, когда слышит мои ответы? Что такого забавного я говорю? Может быть, он так же смеялся перед тем, как убить Зехру, и его смех – это последнее, что она слышала в этой жизни?..

– Салихат, ты глупая. Послушай, что я сейчас скажу.

Он сел, прислонившись к спинке кровати, не отпуская меня, так что я оказалась прижатой к его груди, поросшей темными волосами.

– Удовольствие, которое испытывают муж и жена от близости, – не грех, а величайшая милость Аллаха. Если бы ты чаще читала Коран, то знала бы: нет ничего постыдного в моих действиях и в том, что ты чувствуешь, ведь это дозволено Всевышним, а то, что не дозволено, я не делаю. Мне приятно ласкать тебя и целовать, и я бы хотел, чтобы ты делала то же. Но ты пока не готова, и я тебя не принуждаю, жду, пока привыкнешь. Но в остальном на мою снисходительность не рассчитывай и бойся меня, как всякая жена страшится своего мужа. Ты должна быть покорной, не лгать и угождать мне, моим сыновьям и Расиме-апа. Пока все именно так, мне не приходится тебя наказывать, и это хорошо. Ибо нет для правоверного более тяжелой обязанности, чем вразумлять нерадивую жену. Но если когда-нибудь ты забудешь о страхе перед Всевышним, о своем долге передо мной, мне придется напомнить тебе. Все это я говорю для того, чтобы ты не стыдилась своих ощущений и не боялась показывать их мне. Куда больше меня разозлит твое притворство или равнодушие. Помни об этом, Салихат.

Я слушала его в изумлении. Не могла поверить, что слышу это от немногословного Джамалутдина. Я действительно боюсь мужа, но еще больше – его ласк, от которых становлюсь сама не своя. Откуда же мне было знать, что все, что происходит в нашей спальне, – с благословения Аллаха? Уж точно не от отца и не от Жубаржат, которая уверена, что ее долг состоит в покорности мужу и в рождении детей, и которая ни о каком удовольствии и не помышляет.

Джамалутдин продолжал говорить, а я лежала не дыша, старалась запомнить каждое слово.

– Ты должна родить много детей. Двух сыновей мне недостаточно. Я хочу, чтобы этот дом был наполнен детьми. Поэтому я буду приходить к тебе, пока ты не понесешь. Как только почувствуешь, что твои недомогания не пришли, скажешь мне.

– И тогда вы не будете приходить в мою спальню, пока я не рожу?

– Буду. Ведь, помимо долга, мною движет удовольствие, которое я получаю, владея тобой. И то, что ты разделяешь со мной это удовольствие, доставляет мне еще большую радость.

Все-таки мой муж – странный человек. Может, убийство жены на него так подействовало? Может, он пытается усыпить мою бдительность, чтобы убедиться в моей развратности и потом сказать моему отцу: «Она была шлюха, и я отправил ее прямиком в ад». Но я

не хотела в это верить. И когда следующим вечером Джамалутдин пришел, я уже не притворялась равнодушной, и он остался со мной на всю ночь – впервые после свадьбы.

* * *

Я пеку чуду с бараниной к завтраку. За окнами едва рассвело, и остальные еще спят после утренней молитвы. Это мое самое любимое время: можно побыть в одиночестве без приказаний Расимы-апа: сделай то и сделай это, которые она щедро раздает до самого вечера.

Хотя прошло уже десять дней, как я вошла в дом Джамалутдина, я все еще не могу привыкнуть к роскоши, которая моему отцу и не снилась, хоть он и слывет самым богатым после Джамалутдина. Кухня просторная и обставлена совсем как в махачкалинской квартире тети Мазифат. Есть холодильник и газовая плита с духовкой, так что чуду можно печь, не выходя во двор. И два стола – один обеденный, за которым едим мы с Агабаджи, и другой для готовки. На нем удобно раскатывать тесто, резать овощи и разделявать мясо. Пол не земляной, как в других домах, а дощатый, и я отскребаю его каждый день после ужина, чтобы половицы блестели.

У стены стоят ведра с водой, которую я ношу с колонки: достаточно только зайти за дом, и вот она, вода, течет себе свободно, не надо стоять в очереди. Джамалутдин говорит, что хочет провести в дом водопровод, чтобы было, как у тети Мазифат в ванной – открываешь кран, и вода течет сразу теплая, но я в такие чудеса не верю. Как может вода течь в любое время по твоему желанию? Откуда она возьмется в таком количестве, да еще подогретая? Так что я просто вежливо выслушала планы Джамалутдина, делая большие глаза от удивления, а сама про себя посмеялась, и только.

Чуду в духовке не подгорают, получаются румяные, пышные от большого количества начинки. В этом доме не надо экономить мясо. Когда запасы кончаются, Джамалутдин привозит освежеванную тушу барана, а кур Расима-апа режет сама. Дважды в неделю мне приходится ощипывать теплые, залитые кровью тушки, я стискиваю зубы и задерживаю дыхание, чтобы не мутило от сладковатого запаха, который потом долго не отстаёт от рук. После того как я ощипала не

меньше десятка тушек, блюда с курятиной уже не кажутся такими аппетитными, но я должна есть то, что едят другие.

Горячие чуду лежат на блюде, прикрытые чистой тряпицей. Они так пахнут, что в животе урчит от голода. Предвкушаю, как разломлю жирный сочный пирожок и съем, пока никто не видит. Завариваю крепкий чай, наливаю себе чашку, добавляю сахар – роскошь, к которой я уже успела привыкнуть. Это так вкусно: сладкий чай с мятой, да еще со свежим чуду!..

– Завтракаешь, значит.

Чашка выскользывает из моих рук, и немного чая проливается на стол. Я сижу спиной к двери, на волосы накинута платок, но лицо и шея спереди открыты. Аллах, что надо здесь Загиду?.. Ведь на женской половине он может заходить лишь в комнату жены.

Поспешно встаю, поправляю платок и оборачиваюсь. Старший сын Джамалутдина небрежно прислонился плечом к косяку, на лице – кривая усмешка. Я опускаю глаза и бормочу:

– Доброе утро, Загид. Хотите чуду?

Он мой пасынок, но я к нему на «вы», ведь он старше меня и не терпит неуважения. Мне не нравится взгляд, которым Загид охватывает меня с головы до пят, я вспыхиваю, а ему мое смущение, похоже, доставляет удовольствие.

– Я за этим и пришел. Неси завтрак поскорее. Уезжаю по делам.

Загид раздает приказания, словно он не пасынок мне, а муж. Это странно, ведь у него есть жена, почему он не разбудит Агабаджи и не велит ей все то, что велит мне? Но я не могу задать ему этот вопрос, поэтому просто киваю, и он наконец уходит.

Ставлю на поднос все необходимое и отправляюсь в столовую мужской половины. Чтобы попасть туда, надо пройти длинным полутемным коридором мимо закрытых дверей женских спален, миновать небольшую прихожую, за которой начинаются жилые комнаты Джамалутдина и его сыновей. Здесь всегда тихо, мебели почти нет, все скромно и просто, даже в зале, где бывают уважаемые гости, вместо диванов на полу ковры и подушки. Единственный предмет роскоши – большой телевизор на подставке. Я каждый день протираю экран от пыли специальной тряпочкой, которую мне выдала Расима-апа, и всякий раз боюсь, что останутся разводы от чистящего средства с резким запахом, поэтому тру хорошенько, досуха.

Я стараюсь бывать на мужской половине как можно реже, но все равно получается не меньше трех раз в день, ведь я убираюсь и приношу еду, – и перед каждым походом я закутываюсь в платок, чтобы ни один волосок не выбивался наружу. Перед тем как войти, я должна убедиться, что в доме не гостят посторонние мужчины. Утром все просто: в такое время к нам никто не приходит, если только не стряслось что-то важное, как на днях, когда Джамалутдину принесли весть о внезапной смерти дальнего родственника. А вот днем или вечером приходится спрашивать у Расимы-апа, не пришел ли кто.

В комнате, где мужчины принимают пищу, сумрачно и прохладно. Здесь почти нет мебели, кроме стола посередине, простых удобных стульев и шкафа с посудой в дальнем углу. Вдоль стен разбросаны циновки. Я составляю на стол все, что принесла на подносе, стараясь не греметь посудой и управиться поскорее, пока не появился Загид. Но куда там, он тут как тут, смотрит, не пролью ли я чай, не подгоревшие ли чуду на тарелке, не забыла ли я про овечий сыр, который он ест каждое утро. Любая оплошность с моей стороны вызывает у Загида довольную усмешку, и он не преминет пожаловаться Расиме-апа, а той только того и надо. Джамалутдин не знает про козни Загида, а то, что Расима-апа учит меня жизни, он считает само собой разумеющимся. Иные свекрови так обращаются с невестками, что те сбегают в родительский дом и остаются там, если, конечно, им позволяют остаться. Джамалутдин говорит, если я буду трудолюбивой и почтительной, у Расимы-апа не появится поводов сурово со мной обращаться. Он не бывает дома целыми днями, а когда возвращается, требует тишины и порядка, так что домашние стараются как можно реже попадаться ему на глаза, а Расима-апа – та вообще ходит ласковая, слова дурного не скажет, речи ее льются словно мед.

Загид внимательно следит за мной, но на этот раз не находит повода придраться. Я разложила перед ним чуду и сыр, поставила чай, даже про салфетку не забыла.

Обычно Загид сразу меня отпускает. А сегодня не спешит, смотрит прямо в лицо, шайтан его заberi. Я отвожу глаза, сдерживаясь, чтобы не сказать какую-нибудь дерзость.

– Как тебе живется в нашем доме? – спрашивает Загид, наслаждаясь моим смущением и осознанием собственной власти.

– Хорошо, – отвечаю, а сама потихоньку пячусь к двери.

Но пасынок разгадал мою хитрость.

– Я не позволял тебе уйти! Сядь рядом. – Он хлопает ладонью по стулу. – Не люблю завтракать в одиночестве.

«Почему тогда не разбудишь Агабаджи? Ухаживать за мужем – ее обязанность».

– Мне нельзя тут. Если Джамалутдин войдет...

– Чего боишься? Я для тебя махрам^[5], забыла? Стыдливость хороша для засватанной девицы, но не для замужней женщины, живущей в доме с мужчинами.

– У меня много дел, Расима-апа рассердится, если узнает, что я тут прохлаждаюсь, – в отчаянии привожу я убедительный довод.

– Я скажу, что ты убиралась в моей комнате. Ну! Садись! – Тон и взгляд Загида ясно дают мне понять, что я совершу ошибку, если послушаюсь.

Отодвигаю стул как можно дальше от него, сажусь на самый краешек, готовая в любой момент бежать. Хотя, что мне может сделать пасынок? Поблизости спит Джамалутдин, который вот-вот встанет. Бояться нечего. Да, Загид мне противен, но несколько минут можно и потерпеть.

– Я могу говорить тетке только хорошее о тебе, – вкрадчиво продолжает Загид, скаля желтые от табака зубы. – А могу наоборот. Она мне верит. Подумай, может, лучше бы мы были друзьями, а, Салихат?

Я киваю, а сама думаю: «Про какую дружбу он говорит? Разве я парень?»

Ведь дружить могут только мужчины с мужчинами или женщины с женщинами. А остальное – или родство, или харам.

Загид ест шумно и жадно, чуду запикивает в рот чуть ли не целиком, сыр падает ему на рубашку, он нетерпеливо смахивает крошки на пол. Мне неприятно на него смотреть, и я отворачиваюсь, с тоской глядя на дверь.

– Ты уже подружилась с моей женой? Вы ведь подружки с ней, скажи?

– Агабаджи хорошая, – осторожно отвечаю я. – Такая тихая, говорит мало... ей, наверное, не очень здоровится, все-таки первенца ждет...

– Уверен, будет сын, – важно говорит Загид, отхлебывая из чашки. – А ты еще не понесла? – Он кидает взгляд на мой живот, но я в просторном платье. – Отец каждую ночь к тебе ходит! Даром что старый, даже я столько не бываю с женой. Хотя ей не на что жаловаться.

Он похотливо хихикает. Наверное, это уже слишком. Вскикиваю и, пробормотав извинения, бегу прочь из комнаты. Вслед мне несется смех.

В коридоре прижимаюсь горячим лицом к стене, жду, пока успокоится колотящееся сердце. Загид ничего мне не сделал, но я осквернена его словами, взглядами, смехом. О том, чтобы рассказать обо всем мужу, мне и в голову не приходит.

Проходя мимо спальни Джамалутдина, осторожно заглядываю внутрь. В комнате полумрак, Джамалутдин спит после предрассветного намаза на своей узкой кровати, укрытый простыней. Затворяю дверь и возвращаюсь на кухню, время нести завтрак Расима-апа.

На кухне хозяйничает Агабаджи. Лицо заспанное и злое, нечесанные пряди торчат из-под небрежно накинутого платка. За такой вид меня даже Жубаржат бы отругала. Поджав и без того тонкие губы, жена пасынка швыряет на тарелку чуду с таким видом, будто они виноваты во всех ее бедах. Увидев меня, презрительно передергивает плечами.

– Расима-апа голодная. – Слова, которыми Агабаджи достаивает меня вместо «доброе утра», звучат как обвинение. – Она разбудила меня, потому что не смогла найти тебя. Где, интересно, ты была? – И, не дав мне возможности ответить, ехидно добавляет: – Лучше бы тебе придумать хорошее оправдание, чтобы не нарваться на неприятности.

– Мне нет нужды оправдываться, сестра, – спокойно говорю я, намеренно называя Агабаджи общим для всех правоверных мусульманок именем, чтобы охладить ее пыл. – Я подавала завтрак твоему мужу. Он не сразу отпустил меня. И если Расима-апа сегодня проснулась раньше обычного и попросила тебя подать чуду, которые я испекла вовремя, в этом нет ничего, что могло бы вызвать ее или твое неудовольствие.

На это Агабаджи нечего ответить. Она хмурит лоб, силясь придумать что-нибудь, но вынуждена признать, что я права, поэтому

бормочет:

– Давай пошевеливайся.

Едва войдя в комнату Расимы-апа, понимаю, что та сегодня не в духе. Не успеваю сказать словечко, как она накидывается на меня с бранью.

– Ленивая, неблагодарная, спаси Аллах мою душу! Я должна голодать, пока тебя носит незнамо где. Пришлось просить Агабаджи, а ей тяжело подниматься рано, в ее-то положении.

– Но я...

– Аллах закрыл мне глаза и уши, когда я сватала эту девчонку! – продолжает стенать Расима-апа, заламывая руки и делая страдальческое лицо. – Видно, придется вернуть ее отцу с позором. Несчастный Джамалутдин, где найти ему достойную жену, когда в твоих дочерях, о Аллах, столько притворства!

– Я подавала завтрак Загиду, и...

– Столько времени? Или до мужской половины полчаса ходу? – Она хитро прищуривается. – Ай, не лги мне, дочка, ведь я тебе вместо матери!

– Загид попросил убрать в его комнате. Не верите, спросите у него.

Мне все равно, сдержит Загид свое слово или нет. Он может сказать Расиме-апа, что сегодня утром вообще меня не видел. Невозможно понять, что у него на уме и в каком настроении я его оставила, когда убежала. Вернее всего, Расима-апа не пойдет к Загиду. Сейчас покричит, как обычно, а потом выдаст поручения и сядет завтракать.

– А вот спрошу, – неожиданно говорит Расима-апа, мстительно кивая. – Только выпью чай и спрошу, уж не поленюсь сходить. Что? Никак подгорели? – Она придирчиво вертит пирожок, рассматривая его так и эдак. – Нет, показалось. Ладно, ступай на кухню, подготовь нут, сегодня вместо жижиган-чорпа сваришь суп с бараниной. Потом отправляйся в сад собирать абрикосы. Перезревшие клади отдельно, а с зеленым боком не срывай, пусть зреют.

– Хорошо, Расима-апа.

Возвращаюсь на кухню. Джамалутдин наверняка проснулся и ждет свой чай, а я все не иду, и если он будет вынужден прийти за завтраком сам, не миновать мне его гнева. И почему по утрам я нужна

сразу всем? Если бы могла, разделила бы себя на две половинки, чтобы одна прислуживала в женской части дома, а вторая – в мужской.

Агабаджи сидит за столом. Она уже позавтракала, чашка с тарелкой отставлены в сторону, на клеенке крошки. Агабаджи никогда не моет за собой посуду, знает, что это сделаю я. Обычно она сразу уходит к себе и спит до обеда, если только не надо сделать что-то срочное по хозяйству. Сейчас вид у Агабаджи такой, будто она босой ногой раздавила червяка. Не обращая на нее внимания, достаю из шкафа, где хранятся крупы и мука, холщовый мешок с нутом, отсыпаю в миску необходимое количество и хорошенько промываю холодной водой.

– Что так долго делала у Загида?

Надо же, Агабаджи удостоила меня вопросом! Оборачиваюсь к ней. Она пристально смотрит, сверлит глубоко посаженными глазами с набрякшими веками, ждет ответа.

– Еду носила.

– И все?

О Аллах! Да что такое творится в этом доме? Эти женщины стоят друг друга. Неужели со временем и я стану такой, как они?

Понимаю, что если уж начала обманывать, нужно врать и дальше. Поэтому повторяю, что Загид попросил убрать в его комнате. В конце добавляю:

– Странно, почему он тебе не велит прибираться, ведь его жена ты, а не я.

– Ты знаешь, что я ношу ребенка! – вскидывается Агабаджи.

– И что же, ты первая из женщин? Или носить ребенка от Загида – особая честь? Если так, то конечно, я готова и дальше выполнять твою работу, Агабаджи, во всяком случае, пока ты снова не сможешь сама ее делать. Но тогда не задавай мне таких вопросов. И все же хоть иногда заходи в комнату мужа, вытирай там пыль, меняй простыни и собирай грязную одежду, потому что, если ты забыла, у меня тоже есть муж, от которого я могу в любой момент понести.

Агабаджи в изумлении глядит на меня, словно не верит, что это все я ей говорю. Я и сама не верю, что сказала такое. И ладно бы нашло помутнение, так ведь нет – голова ясная, голос спокойный и руки не дрожат. Минуту мы молча смотрим друг на друга, а потом Агабаджи медленно встает и уходит, а я заливаю нут теплой водой,

добавляю немного соли, перемешиваю, отставляю в сторону и готовлю поднос с завтраком для Джамалутдина.

Позже, когда я заносу в дом корзины со спелыми абрикосами, Расима-апа молча смотрит на меня, но ничего не говорит. Я не знаю, в самом ли деле она расспрашивала Загида или просто пыталась заставить меня сказать правду. Но что-то мне подсказывает, что расспрашивала. И, похоже, он сдержал обещание, только вот радости от этого мало.

Сегодня день моего рождения, семнадцатое июля. Мне исполняется семнадцать. Про это помню только я. В наших краях на девочек мало обращают внимания, их рождение остается незамеченным (если только это не десятая девочка подряд). У отца хранится свидетельство о моем рождении, пару лет назад я видела его случайно, тогда и подсмотрела дату, а до этого знала только, сколько мне лет, и все.

Для меня это обычный день, такой же, как все другие в году. Утро прошло как обычно, я приготовила завтрак, отнесла поднос сначала Загиду, потом Расиме-апа и Джамалутдину. Он, хоть и торопился в город, посадил меня рядом и, пока завтракал, говорил со мной о хозяйственных делах, спрашивал, все ли хорошо, не нужно ли мне чего. Я старалась отвечать так, как нравится мужу: не опускала глаза, не ограничивалась только «да» и «нет», и сама не заметила, как разговорилась, даже рассмеялась один раз, когда рассказывала забавный случай, приключившийся на днях в нашем селе (от соседки услышала, которая к Расиме-апа приходила). Так хотелось попросить его, чтобы позволил Жубаржат или одной из моих подруг навестить меня, но я не посмела. Сказала только, что мне ничего не нужно, и поблагодарила, что внимателен ко мне.

В какой-то момент Джамалутдин занес надо мной руку, и я машинально вжала голову в плечи, ожидая удара, хотя меня не за что было бить и муж совсем не злился, наоборот – улыбался. Но он всего лишь поправил прядь волос, выбившуюся из-под платка, а потом не удержался и провел пальцами по щеке, по губам и подбородку. Я закрыла глаза и задержала дыхание, удивленная этой неожиданной лаской. В залу в любой момент могли войти, но, несмотря на страх разоблачения, по моему телу пробежала дрожь, мне стало жарко в платье и платке и захотелось оказаться рядом с Джамалутдином раздетой, как прошлой ночью.

О Аллах, зачем я только вспомнила об этом? Наши ночи становятся все бесстыднее, и я снова и снова спрашиваю Джамалутдина, не навлечем ли мы на себя гнев Всевышнего. Муж

уверяет: если я лежу не на спине, когда он берет меня, а на боку или на животе, это вовсе не грех, а лишь один из разрешенных способов близости. Поэтому я осмелела настолько, что начала касаться обнаженного тела Джамалутдина, правда, пока еще в таких скромных местах, как грудь, плечи или шея. Мне нравится ощущение теплой влажной кожи под моими пальцами. Она совсем не такая, как у меня, более грубая и покрыта волосами, а кое-где и в шрамах, но очень чувствительная, потому что Джамалутдин, стоит мне дотронуться до него, стонет, и я теперь знаю – это не от того, что у него где-то болит. Он не пытается управлять моей ладонью, но наверняка ждет момента, когда она опустится ниже. Не могу представить, что однажды решусь на такое, мне одновременно и страшно, и любопытно, но мы еще так мало женаты, что Джамалутдин не ждет от меня смелости.

После завтрака Джамалутдин уехал, а я, закончив убирать в комнатах, взяла две большие корзины и пошла в сад. Третий день подряд я собираю абрикосы, стараясь делать это до полуденного зноя. Хоть я и в тени от веток, солнце все равно пробирается через платок и платье, так что в глазах темнеет. Постоянно приходится держать голову поднятой, высматривая спелые плоды. Недозрелые абрикосы рвать нельзя. Расима-апа осматривает каждый и, если находит с зеленым боком, откладывает в отдельную миску. Чем больше в этой миске плодов, тем больше мне достанется.

Кажется, сбор фруктов никогда не закончится. Не успеваю я обобрать со всех деревьев спелые абрикосы, как уже дозревают те, которые я накануне оставила зелеными, и приходится все начинать сначала. А ведь в саду еще груши и инжир, скоро придет их черед. Но из всех домашних обязанностей эта, пожалуй, самая приятная. Я совсем одна, мне никто не мешает, а вокруг пахнет нагретой землей и спелыми абрикосами. Абрикосовый сок стекает по моим пальцам, привлекая ос. Щеки тоже липкие. Я утираю пот с лица, который смешивается со сладким соком, оставляя на коже пахучую пленку. Мои движения машинальны, если бы не необходимость спускаться по расшатанной стремянке и передвигать ее на новое место, я бы, пожалуй, задремала от такой монотонной работы.

– Салихат-апа!

Вздрагиваю от неожиданности, едва не упав с лестницы, но в последний момент успеваю за нее ухватиться, при этом горсть

абрикосов шлепается на землю. Перевожу дыхание, крепче вцепляюсь в стремянку и только тогда смотрю вниз. Под деревом, задрав голову, стоит Мустафа.

– Чего тебе? – сердито говорю ему.

Из-за этого мальчишки я могла сейчас лежать внизу, рядом с теми лопнувшими плодами.

– Пришел спросить, не надо ли помочь. Простите, если напугал.

– Ничего, – говорю уже мягче. – Тебя Расима-апа послала?

– Нет. Сегодня мулла отменил занятия, а отец и брат уехали.

– А уроки тебе не надо делать? Или суры учить?

– Я уже занимался с утра, и потом еще буду. Вы скажите, что нужно, я сделаю.

Осторожно спускаюсь на землю. Обе корзины полнехоньки, можно немного отдохнуть, только так, чтобы Расима-апа не увидела. Вдвоем с Мустафой мы переносим корзины в тень навеса, где позже предстоит отделять мякоть от косточек и раскладывать все это на листах фанеры, чтобы хорошенько просушилось. Эту работу Расима-апа поручает не только мне, но и Агабаджи, ведь та будет сидеть в тени да знай себе вынимать косточки. И все равно Агабаджи начнет жаловаться на плохое самочувствие, так что в конце концов Расима-апа отправит ее обратно в дом, так уже было не раз и не два.

Мы ползаем под деревьями и собираем паданцы, которые пойдут на начинку для сладких пирожков. Потом садимся под старым деревом, так, чтобы за его широким стволом нас не было видно из дома. Я распустила платок и обмахиваюсь его краем, а Мустафа закатал рукава белой рубашки и снял резиновые шлепанцы. У него всегда строгое, задумчивое лицо, и он похож на Джамалутдина, в отличие от Загида, который, должно быть, пошел в мать.

Интересно, какая она была, Зехра? Тут никто не вспоминает о ней, не произносит ее имени, будто она вовсе не жила на этом свете. Иногда мне кажется, будто история с убийством Зехры – всего лишь страшная сказка, одна из тех, которыми пугают непослушных детей, и что на самом деле она умерла в родах или от какой-нибудь болезни. Словно в ответ на мои мысли Мустафа поднимает взгляд от травинки, которой щекочет свою босую ногу, и тихо говорит:

– Я скучаю по маме, Салихат-апа.

Мое сердце сжимается от жалости, но тут же начинает тревожно биться. Мне нельзя, никак нельзя говорить с Мустафой о Зехре. Если Джамалутдин узнает...

– Какая она была?

О, Аллах! Неужели это и в самом деле я спросила? Неужели мои губы вслух задали преступный вопрос? Пожалуйста, Мустафа, скажи, что не хочешь обсуждать это со мной! Сделай вид, что не слышал ничего!

– Она была хорошая. Такая же хорошая, как вы. Очень добрая и красивая. Отец ее любил.

– Но... – Слова, которые хочу сказать, застревают в моем горле. – Ведь она... если твой отец... – Я замолкаю.

– Ей не надо было убегать в город и встречаться с тем мужчиной. – Мустафа отворачивается, смотрит в небо.

– Откуда знаешь? Может, совсем не так было...

– Все знают! – Его голос звучит обвинительно, как будто в том, что случилось, виновата я. – Сколько слухов ходило, только открыто никто не говорил. Отца в селе уважают и боятся.

– Я не слышала ничего, – мужественно вру, чтобы добиться от Мустафы откровенности.

– В ноябре было. Она в Махачкалу подалась тайком, когда отец уехал. А он завтра вернулся и узнал. За ней поехал, привез. В чулане замкнул.

– И что... дальше? – От волнения мой голос прерывается.

– Больше мы ее не видели. Только ночью слышали крики из чулана. А потом все стихло. Утром чулан был пустой, дверь раскрыта. Отец что-то положил в багажник, оно было завернуто в старое одеяло, сел в машину и уехал. Я хотел побежать за ним, но Загид меня не пустил.

Мустафа отворачивается, но я вижу, как по его щекам катятся слезы – одна за другой, и стекают за ворот рубахи.

– Я стал плакать, а Расима-апа и Загид сказали, чтобы я перестал, что мама была нечестивая, и даже лучше, что ее наказали сейчас, а не в том, другом мире, ведь тогда наказание было бы куда тяжелее. Но я все равно не верил, что мама умерла, и когда отец вернулся, спросил, где она.

– А он?..

– Сказал: «Иди читать Коран», – и отвернулся. Больше я не спрашивал.

Мы сидим на горячей земле, в тени абрикоса, и слушаем звуки, доносящиеся из-за высокого забора. Вот проехала машина, потом прошли двое парней, смеясь и громко разговаривая, девушкам так нипочем нельзя. Всего в сотне метров отсюда родник, туда приходят мои подруги, и Жубаржат тоже, но я ее больше не увижу. Этот дом – тюрьма, стоит выйти за ворота, меня тут же вернут обратно и посадят в чулан, а потом придет Джамалутдин и, не слушая моих криков, завернет в старое одеяло. Если он любил Зехру и все равно сотворил с ней такое, что же тогда может случиться со мной?.. Внезапно мне становится нехорошо, голова тяжелеет, сердце молотом бухает в груди. Я вспоминаю взгляд Загида, его наглуую усмешку, и недовольство Расимы-апа, и ее слова «Джамалутдину нужна другая жена»...

Я очнулась от того, что Мустафа тряс меня за плечо и испуганно повторял:

– Салихат-апа, Салихат-апа!

Я медленно поднимаюсь и, переставляя ноги, как старуха, иду в дом. Расима-апа подскакивает ко мне с порцией ругани, но я не слушаю, иду в спальню, ложусь ничком на кровать и лежу так очень долго, пока за окном не темнеет, а в комнату не входит Джамалутдин.

– Что случилось? – спрашивает он, садясь на край кровати. – Где болит?

В его голосе тревога, но разве он вот так же не волновался за Зехру, пока она не вышла за ворота в свой последний раз? Я глубже зарываюсь в подушки, не хочу его видеть, не хочу жить, пусть лучше я сразу умру, чем ждать, когда окажусь запертой в чулане.

– Она перегрелась на солнце. – Гневный голос Джамалутдина доносится до меня издалека, будто сквозь вату. – Те абрикосы, это все Салихат собрала сегодня? Расима-апа, я запрещаю держать ее так долго на жаре! Пусть Агабаджи тоже работает, а если она не в состоянии, клянусь, завтра отправится обратно к отцу. Моя мать родила двенадцать детей и даже на сносях не отлынивала от работы под предлогом, что выполняет свой долг перед Аллахом и мужем!

Захлопнув дверь, Джамалутдин снова садится на кровать. Он осторожно переворачивает меня на спину и долго смотрит. Потом целует. Я закрываю глаза. А когда открываю, вижу на его ладони что-

то блестящее. Джамалутдин разжимает мои непослушные пальцы и вкладывает в них золотую цепочку с кулоном в виде полумесяца.

– С днем рождения, Салихат.

– Так вы знаете?..

– Конечно, – Джамалутдин смотрит на меня, как на несмышленного ребенка, и улыбается: – Я купил это в городе.

– Спасибо.

Он надевает на меня украшение, а я хочу ослепнуть, чтобы не видеть так близко его довольное лицо.

На третий месяц мои недомогания не пришли. Сначала я совсем об этом не думаю – тут бы успеть все дела завершить до вечера. Агабаджи совсем отяжелела, большой живот не помещается в юбке, а ведь до родов еще три месяца. Она ведет себя как заморская принцесса, чашку за собой не вымоет, и то небольшое, что раньше было на ней, теперь тоже делаю я.

Первое время после гнева Джамалутдина, когда он решил, что я перегрелась на солнце, жена Загида делала вид, что хлопчет по хозяйству. Когда нам случилось остаться наедине, Агабаджи так на меня смотрела, что не оставалось сомнений, кого она считает виноватой в своих бедах. Расима-апа, страшась гнева племянника, стала поднимать Агабаджи рано утром, выдавать ей поручения – по два-три на целый день. Но пришла очередь Загида возмущаться. Он сказал, что его жена не отличается крепким здоровьем, тяжелая работа убьет и ее, и ребенка. Не знаю, с каких пор подметание полов и замешивание теста считается тяжелой работой. Только однажды днем Агабаджи слегла в постель и заявила, что дальше уборной никуда до самых родов не пойдет, а если хотят, пусть отправляют ее обратно к отцу, и первенец Загида Канбарова родится именно там, раз уж больше ему родиться негде.

Я даже обрадовалась, когда Агабаджи так сделала. Хотя мы почти не общаемся, при ней мне становится не по себе, особенно когда она так смотрит. Может, я просто вбила себе в голову, но Агабаджи невзлюбила меня с самого начала, едва я переступила порог, а вот почему – не могу взять в толк. Для себя я решила, что ни словечком не обмолвлюсь с Джамалутдином о том, что в доме происходит в его отсутствие. Поэтому выбросила Агабаджи из головы, а потом вовсе стало не до нее: недомогания не пришли, и через четыре дня после положенного срока я задумалась о том, что же это такое.

В наших краях девочка становится женщиной, когда у нее в первый раз случаются недомогания. У кого в одиннадцать лет, а у кого в четырнадцать, заранее не угадаешь. Тогда платья до колена, какие дозволяется носить девочкам, сменяются юбками в пол, а на голову

повязывается платок. Девушка уже не может общаться с соседскими мальчишками и должна вести себя с ними так же, как мать, старшие сестры и другие взрослые родственницы ведут себя с мужчинами. Но до начала недомоганий девочку никто сосватать не может, она считается ребенком. Еще лет тридцать назад замужество в четырнадцать лет было обычным делом, хоть и скрывалось от властей и приезжих. Моя бабушка со стороны матери вышла замуж в тринадцать, а отцова мать – в двенадцать, и обе через год после никаха родили первенцев. Но это было в самом начале века. Теперь раньше шестнадцати к девушке сватов не засылают, хотя бывают исключения, особенно если браки родственные.

Мои недомогания начались четыре года назад, и с тех пор регулярно приходили каждый месяц, почти день в день, так что я всегда заранее знала, когда надо приготовить чистые тряпицы. Прошлым летом я гостила у тети Мазифат, и Зарема показала мне белую штуку, которую надо было освободить от липкой ленты и прикрепить к трусам, чтобы туда впитывалась кровь. Сестра подарила мне несколько штук, и я их использовала все три дня. Очень уж они были удобные, не то, что норовящие выпасть тряпицы, которые потом надо тайком стирать и сушить так, чтобы не увидел отец. Зарема сказала, что такие штуки, я забыла их название, свободно продаются в городе. Я не призналась, что в нашем селе о таком не слышали. Когда через месяц после свадьбы пришел мой очередной раз, Джамалутдин собирался в Махачкалу и спросил, не нужно ли мне чего, но я постеснялась спросить про эти удобные штуки. Да он бы и не стал их покупать, даже если бы я попросила – более стыдного поступка для мужчины не придумать.

Жубаржат рассказывала, что у женщины кровь бывает каждый месяц, пока она не станет старая, а у молодой недомоганий не бывает только во время беременности. Так что, если недомогания не наступили, значит, женщина понесла. Жубаржат еще что-то говорила про тошноту по утрам и странные ощущения внутри тела, но мне это было не интересно тогда, и я почти все позабыла.

И вот я сижу позади дома, у хозяйственных построек, делаю связки из лука, чтобы потом подвесить их в сарае на балку, и размышляю. Неужели я беременная? Всего три месяца с первой

брачной ночи, а внутри уже ребеночек! То-то обрадуется Джамалутдин, когда узнает.

Но тут же накатывает страх. А вдруг я ошибаюсь? Может, это какая-то болезнь, о которой я не знаю? И если сейчас скажу мужу, что понесла, а это окажется неправдой, Джамалутдин разозлится и, чего доброго, побьет меня. Ведь должен же он когда-то это сделать. Столько времени прошло, а я еще ни разу им не битая.

Прислушиваюсь к себе – вдруг организм подаст знак? – но ничегошеньки не чувствую. Все как обычно. Меня не тошнит, живот не болит, сил по-прежнему много, ем я не больше и не меньше, чем обычно. А может, еще слишком рано для изменений? Будь мы дружны с Агабаджи, я разузнала бы у нее, что и как. Можно и у мачехи спросить, она семерых родила, но как увидеться с Жубаржат? Пусть она живет всего в пятнадцати минутах ходьбы – в моем случае это все равно, что на Луне, разницы никакой. Придется, видно, рассказать мужу. Еще немного, и он сам обо всем догадается, ведь мне положено предупреждать его о скором приходе недомоганий, потому что супружеские отношения в такие дни – харам.

Джамалутдина нет дома с позавчерашнего утра, он в очередной раз уехал и не сказал, когда вернется. Весь последний месяц он в разъездах, не ночует дома по три-четыре дня. Возвращается всегда такой, будто не спал и не ел все это время. Я никогда не спрашиваю, где он был. Жены о таком мужей не спрашивают. Я просто встречаю его улыбкой, целую ему руку и говорю, что сейчас подам кушанья. День или два Джамалутдин ко мне не приходит, отсыпается в своей комнате. Не знаю, как другие женщины, может, они и рады, когда мужья оставляют их в покое, а я в такие ночи скучаю по Джамалутдину. Мне хочется, чтоб он приходил каждый вечер. Только я ни за что ему в этом не признаюсь, не то он решит, что я развратная.

С того дня, как Мустафа рассказал о последнем дне жизни Зехры, внутри меня произошло раздвоение. Одна моя половина боится и осуждает Джамалутдина, вторая – страстно желает его. За то время, что мы женаты, я успела хорошо узнать мужа и не могу поверить, что он способен на убийство женщины, которая родила ему сыновей, даже если она сбежала к другому мужчине. Да, Джамалутдин немногословен и суров, в его доме царят порядок и послушание, но при этом он умеет смеяться, всегда готов выслушать и не сердится без

причины. Ко мне он относится хорошо, уж точно лучше, чем большинство мужей относятся к своим женам.

Вначале я боялась вызвать неудовольствие Джамалутдина своей неловкостью, но потом поняла: он терпеливо относится к моим попыткам стать хорошей женой, и, быть может, именно поэтому все у меня со временем стало получаться. Я уже почти забыла, при каких обстоятельствах Джамалутдин оказался вдовцом.

Разговор с пасынком вернул прежние страхи. Несколько ночей после того разговора я была неспособна впустить в себя Джамалутдина, так что он оставил попытки, дав мне время оправиться, как ему казалось, от солнечного удара. Мне понадобилось три дня, чтобы осознать: он теперь мой господин, и что бы ни сделал с первой женой, он имел на это полное право, а мне до того не должно быть дела.

Несмотря на страх, я успела привязаться к Джамалутдину, а больше всего к нашей супружеской близости. Кроме как в спальне, мы почти и не общаемся, если не считать коротких бесед во время завтраков и обедов, когда я стою у стола или, с его позволения, присаживаюсь рядом. Едва Джамалутдин дотрагивается до меня, я начинаю дрожать от предвкушения. Когда он меня раздевает, я готова делать все, что он велит. Тут уж не до Зехры, и, наверное, только это меня и спасает от мыслей о ней.

Забыв про лук, я закрываю глаза. Представляю, как рождается ребенок и Джамалутдин палит в воздух из ружья, оповещая все село, что я подарила ему сына. Пусть это не первый его сын, но зато наш общий первенец. Мы оба счастливы и тут же начинаем думать о следующем ребенке. На мальчика приходят посмотреть Жубаржат и Диляра, а Расима-апа признает, что краше ребенка не видала.

– Вот она, прохлаждается!

Визгливый голос вырывает меня из грез, я буквально подсакиваю с земли. Тетка Джамалутдина возвышается надо мной, уперев руки в бока, жирные щеки колышутся от возмущения. Я настолько поглощена мыслями о беременности, что даже не успеваю испугаться, как получаю звонкую пощечину. Ахнув больше от неожиданности, чем от боли, прикладываю ладонь к разбитым губам. Чувствую, как текут слезы. Здесь на меня еще не поднимали руку, и я думала, только Джамалутдин имеет на это право.

– Лентяйка! – кричит Расима-апа. – Я что тебе велела? Сидеть тут, да? В небо смотреть, да? Думаешь, раз Агабаджи больная, и тебе можно прохладиться? Если все в этом доме начнут от работы отлынивать, кто будет готовить мужчинам еду, стирать им одежду и убирать?

– Я сейчас все сде...

– Иди, там твой муж! У него к тебе поручение.

Джамалутдин вернулся! Сердце заходится радостью, и я спешу к дому, на ходу приводя в порядок волосы и платье. Щека горит, но нет времени думать о боли, хочу скорее поделиться своей новостью. Едва я решила не скрывать от мужа подозрений, что беременна, жгучее желание рассказать распирает меня изнутри.

Джамалутдин стоит посреди кухни и жадно ест холодную баранину, заедая ее лепешкой. Одежда на нем мятая и грязная, от него пахнет потом и почему-то дымом костра. Увидев меня, Джамалутдин кладет на тарелку недоеденный кусок, вытирает руки о штанины и манит к себе. Удивленно смотрит на мою распухшую губу, но ничего не говорит.

– Сейчас соберу вам поесть, – торопливо говорю ему. – Есть жижиган-чорпа, и...

– Некогда, – прерывает Джамалутдин. – Через пару часов приедут гости. Много гостей, все мужчины. К этому времени должны быть готовы плов, шашлык и хинкал. Я привез тушу барана, она в машине. Ты должна помочь Расиме-апа, она одна не управится. Агабаджи приготовит гарнир к мясу, я уже сказал Загиду, чтоб велел жене поторапливаться. Думаю, мы засидимся допоздна, так что еды пусть будет с избытком.

– Все сделаю, как велите.

Я взволнована, но виду не показываю. У Джамалутдина и раньше бывали гости, и мы подавали в мужскую залу угощение и напитки, но, конечно, не в таком количестве и не в такой короткий срок. Сейчас надо успеть освежевать баранью тушу и приготовить несколько мясных блюд, а во время застолья подавать чайники горячего сладкого чая с мятой и кальяны. Я радуюсь возвращению мужа, но огорчена, что придется повременить со своей новостью, и кто знает, быть может, Джамалутдин не останется на ночь, а снова уедет, теперь уже с гостями.

Расима-апа раздаёт указания направо и налево, энергично перемещаясь по кухне. Она делает вид, будто забыла про то, что было возле сарая, но я-то знаю – едва Джамалутдин уедет, как мне снова от нее достанется.

Удивительно: Агабаджи соизволила выйти и теперь промывает в тазу рис, всем своим видом демонстрируя невероятное страдание. Должно быть, Загид пригрозил ей всеми карами небесными, если не подчинится приказу Джамалутдина. Агабаджи ходит тяжело, переваливаясь из стороны в сторону, и живот у нее такой большой, будто там целых двое детишек. У Жубаржат был такой же, когда она носила двойню. Глаза у Агабаджи запали в глазницы, под ними темные круги, которые еще заметней на фоне бледной кожи. Внезапно мне в голову приходит мысль, что она и в самом деле может себя плохо чувствовать, а не притворяться. Тайком кладу руку на живот, мысленно прошу ребеночка не причинять мне страданий и легко появиться на свет.

Мы едва успеваем накрыть в зале стол и переложить на большие блюда плов и шашлыки, когда приезжают гости. Мустафа распахивает створки ворот, и в просторный двор въезжают три или четыре машины с затемненными стеклами. Я подсматриваю из-за кухонной занавески. Из машин выбираются бородатые мужчины и, поздоровавшись с Джамалутдином, неторопливо проходят в дом.

Мы с Агабаджи до их отъезда должны сидеть на женской половине. Все кушанья гостям носит Расима-апа, а если что срочное понадобится во дворе, на это есть Мустафа. Я выкладываю в десятилитровую кастрюлю с кипящим куриным бульоном новую порцию хинкала, и только успеваю сложить его, горячий, в миску, как за кушаньем приходит Расима-апа, и по ее лицу видно: опоздай я хотя бы на минутку, плохо бы мне стало.

– Сил больше нет, лечь хочу, не жалко вам меня, – ноет Агабаджи.

Расима-апа смотрит на ее несчастное лицо и разрешает уйти. Теперь мне придется одной управляться. Пир на мужской половине в самом разгаре. Если выйти в коридор, можно услышать нестройный гул голосов, обсуждающих что-то серьезное, потому что никто не смеется. Им может понадобится еще чай, или хинкал закончится, поэтому на всякий случай я ставлю новый чайник и замешиваю тесто.

Хинкал, если гости не попросят добавки, можно будет съесть на ужин, а про обед из-за всей этой суматохи пришлось забыть.

Мужчины остаются в доме до позднего вечера. Только когда совсем темнеет, они рассаживаются по машинам и уезжают. Наступает наш черед идти в мужскую залу – прибираться.

В комнате накурено, сизый дым ключьями висит под потолком. На столе грязные тарелки и миски с остатками еды, пустые стаканы из-под чая и выкуренные кальяны. На полу следы от грязных ботинок, и я сразу берусь за веник. Агабаджи уже спит, поэтому убираем мы вдвоем. Должно быть, Расима-апа довольна моей расторопностью, слова плохого не говорит, но и хорошего тоже. Она никогда не похвалит, но мне и не нужно – главное, чтобы Джамалутдин был мною доволен.

Когда Расима-апа отпускает меня, я понимаю, как сильно устала. Ноги тяжелые, глаза режет от табачного дыма, но нужно еще совершить омовение и прочесть молитву, прежде чем ложиться спать. Я не видела Джамалутдина после того, как он проводил своих гостей. Но он не уехал вместе с ними, иначе Расима-апа сказала бы об этом.

С замиранием сердца жду, когда он придет. Уже задремав, слышу, как открывается дверь, и сажусь в постели, улыбаясь ему.

– Думал, ты спишь, – говорит Джамалутдин, присаживаясь на кровать и пропуская через пальцы мои распущенные волосы.

– Ждала вас.

– Соскучилась?

Закрыв глаза, чтобы лучше чувствовать ласку, киваю.

– Ай, нехорошо. – Он осторожно трогает мою распухшую губу. – Разозлила Расиму-апа?

– Мне досталось за дело. – Я задерживаю его руку на своем лице. – Вместо того чтобы делом заниматься, я размечталась.

Удивляюсь собственной смелости. Признаться мужу в безделье, значит, навлечь на себя гнев куда больший, чем гнев домашних. Супруг отвечает перед Всевышним за все недостатки жены, искоренять которые – обязанность мужчины, ведь женщина по природе слаба и не обладает достаточной стойкостью для свершения богоугодных дел. Жена, после своей смерти попавшая в ад из-за лености, останется на совести нерадивого мужа, который мог, но не захотел указать ей праведный путь. Именно поэтому наши женщины с

раннего детства воспринимают ругань и побои как должное, им и в голову не приходит возмутиться таким обращением, а уж тем более – пытаться ему помешать.

– Что за мечты у тебя, Салихат?

Сердце начинает биться быстро-быстро. Я должна говорить мужу только правду, особенно если он задает прямой вопрос.

– Мои недомогания не пришли.

Джамалутдин молчит – минуту, другую. В тревоге смотрю на мужа и вижу, что он улыбается.

– Сколько дней?

– Сегодня четвертый.

– У тебя так бывало раньше?

Качаю головой, краснея от стыда, – ай, разве можно говорить о таком с мужчиной!

– Так ты мечтала о нашем сыне? – Джамалутдин обнимает меня. – О, Салихат. Салихат...

В эту ночь он особенно нежен со мной, и я купаюсь в почти безоблачном счастье. Я не привыкла к такому, мне страшно – вдруг все закончится, потому что с самого начала предназначалось вовсе не мне, а какой-то другой девушке.

Через несколько дней уже нет сомнений, что я понесла. Однажды утром я просыпаюсь с непривычным чувством дурноты и едва успеваю добежать до уборной, как съеденный накануне ужин извергается обратно. На следующее утро все повторяется. Расима-апа, к своему неудовольствию, получает от Джамалутдина указание не перегружать меня домашней работой, по крайней мере, на первых порах, пока не станет понятно, насколько хорошо я переношу свою первую беременность.

За неделю до Рамадана Агабаджи вдруг начинает рожать – на два месяца раньше, чем нужно. Мы только позавтракали, я проводила Джамалутдина и грела на плите огромный чан воды для стирки белья, когда раздался вопль ужаса и боли. Я кинулась к комнате Агабаджи, потому что за первым воплем последовали еще, и не было сомнений, что кричит она.

Агабаджи сидела на полу, раздвинув ноги, и выгибалась дугой. Ее широко открытый рот кривился, из глаз катились слезы. Расима-апа, которая прибежала раньше меня, кинулась к ней и попыталась поднять, но Агабаджи грузно осела, едва не уронив Расиму-апа.

– Что смотришь? – бросила мне Расима-апа. – Помоги.

Вдвоем мы с трудом перетащили Агабаджи на кровать, она упиралась и не хотела идти, все повторяла: «Вай, больно, как больно!» – и скулила. Загид, не разобравшись в чем дело, сунулся было в комнату, но Расима-апа его спровадила, наказав не входить, пока все не закончится. Узнав, что у жены начались роды, тот брезгливо скривился и исчез.

В наших краях мужчины не присутствуют при родах, это считается постыдным делом, и женщины стараются родить как можно более незаметно, а лучше – молча, чтобы не тревожить мужчин своими криками. Пару лет назад был случай: муж чуть не до смерти избил жену за то, что та, рожая очередную дочку, кричала всю ночь и не давала ему спать. Но я думаю, он просто разозлился, что получил вместо сына еще одну девчонку, вот и выместил злость на жене.

Расима-апа отправилась звонить Мугубат-апа, которая помогает детям рождаться, а потом принесла чистые простыни, горячую воду и прокаленные ножницы. Все это время я сидела у кровати Агабаджи, а она, вцепившись в мою руку, выгибалась и кричала.

Через полчаса в комнату вошла Мугубат-апа со сморщенным, как сушеный абрикос, лицом, закутанная в светлые одежды, спокойная и приветливая. Присела на край кровати, задрала Агабаджи платье, помяла выпяченный живот, покачала головой.

– Активно идет. Ай, бойкий какой, не терпится ему! Сколько твой срок?

– Семь месяцеееееев... – провыла Агабаджи, снова изогнувшись.

– Ну, ты, тише, – строго сказала Мугубат-апа. – Что кричишь? Вай, стыдно, стыдно так кричать! Ведь муж в доме, что он скажет, что люди скажут? Скажут, у Джамалутдина невестка порченная, родить нормально не может, да.

Агабаджи сразу притихла. Стонала сквозь зубы, закусив сунутую Расимой-апа тряпицу, так что получалось коровье мычание. Я отошла в дальний угол и присела на сундук. От этой суматохи и криков Агабаджи у меня заболело внутри. Мне хотелось уйти, но я не знала, можно или нет, вдруг что понадобится, а если Расима-апа меня не найдет, станет ругаться.

– Почему... так... рано? – выдохнула Агабаджи в перерыве между схватками. – Ведь... еще... два... месяца... уй! Уй, ааааааааааа!

– Молчи, – прикрикнула Мугубат-апа. – Сунь в рот свою тряпку и терпи, да? Аллах один ведает, когда нашим детям появляться на свет. Тебе и лучше, родишь – не заметишь, весом-то такой ребенок меньше, чем другие, да. На днях помогала Марзии Абдулкадыровой, мальчик у нее родился почти пять килограммов, безменом взвесили и не поверили, все село сбегалось посмотреть. А Марзия ничего, ну, постонала немножко, когда муж по делам отлучился. И то сказать, почти два дня рожала, чуть на тот свет не отправилась, хотя у нее уже четверо.

– Ууууу-ваааай!..

Прошел час, потом второй и третий. Расима-апа и Мугубат-апа остались с Агабаджи, а я пошла заниматься делами. Надоело слушать, как Агабаджи стонет да жалуется. Неужели и мне так мучиться? Жубаржат вон как легко рождает, не крикнет ни разу. И Мугубат-апа она никогда не зовет, говорит – зачем лишние траты, лучше я сама. Дождется, пока схватки станут сильные, пойдет в спальню и дверь запрет. Пускает уже на ребеночка посмотреть, вымытого да запеленатого.

Я подаю Загиду обед и жду, что он спросит про Агабаджи, но он не спрашивает. В последнее время он со мной почти не говорит и не смотрит тем своим взглядом, от которого мне нехорошо делалось – может, узнал, что я понесла, а может, по другой причине. Мне куда

спокойнее теперь, хвала Аллаху. Через некоторое время возвращаюсь, чтобы собрать грязную посуду. Загида в комнате уже нет, должно быть, пошел без дела болтаться по селу, что ему до мучений жены.

Агабаджи теперь стонет громче, и на лице у Мугубат-апа легкая тревога. Она давит ладонями на живот Агабаджи, а Расима-апа держит ее ноги разведенными. Агабаджи норовит вырваться и кричит:

– Пустите, умереть дайте, нож дайте мне, сама себе живот разрежу, ааааааа!

Мугубат-апа уже не говорит, что стыдно так кричать, она давит изо всех сил, пот стекает со лба, она скинула платок, закатала рукава платья и давит, давит. Мне не видно, что там между ног у Агабаджи. Расима-апа заслоняет кровать своим большим телом, видны только щиколотки Агабаджи, которые тетка Джамалутдина сжимает, как тисками. Я шарахаюсь от распахнутой двери, мне не хватает воздуха. Иду на кухню попить воды, но едва наливаю себе, как слышу тоненький писк новорожденного.

У Расимы-апа на руках крохотный сморщенный младенец, она кутает его в чистые тряпки, а Мугубат-апа склонилась над Агабаджи и что-то внимательно разглядывает у нее между ног.

– Ай! – вдруг удивленно говорит Мугубат-апа и вытаскивает из Агабаджи еще одного ребенка. – Ай, гляди, вторая девочка.

Так Агабаджи и впрямь носила двойню! Обе крохи пищат, женщины обмывают их и пеленают, а Агабаджи лежит в луже крови, с прокушенными губами и дорожками слез на бледном лице. Я наклоняюсь над ней, поправляю подушки и радостно говорю:

– Поздравляю, Агабаджи, сразу две дочки!

Ее лицо искажается ненавистью, она цедит сквозь сжатые зубы:

– Издеваешься, да? Ладно, посмотрим, кого ты родишь!

Я недоуменно смотрю на нее. Должно быть, у Агабаджи помутнение от боли и пережитого ужаса. Не знаю, что ей ответить, да и надо ли отвечать? Тут Расима-апа замечает меня и велит идти на кухню, ставить еще воды кипятиться. Когда я возвращаюсь обратно, дверь в спальню Агабаджи закрыта, и оттуда слышится ласковый голос Расимы-апа, баюкающий младенцев.

Загид, узнав о рождении дочерей, рассвирепел. Кричал на Агабаджи, грозился ее убить, если еще раз опозорит его девчонкой, вместо того чтоб рожать, как положено, сыновей. Бедняжка закрывала

лицо краем одеяла и пыталась что-то сказать в свое оправдание, мол, она не виновата, и следующим непременно будет мальчик, хотя сама наверняка в тот момент меньше всего хотела новых родов.

Мне стало жалко Агабаджи. Она не виновата, ее правда. Детей дает Аллах, невозможно родить мальчика только потому, что хочешь именно мальчика. Я слышала, в России есть специальные аппараты, которые просвечивают беременным живот и дают увидеть, кто внутри. Но зачем? Ведь ребенок – уже – мальчик или девочка, и этого не изменишь, как ни старайся.

Я думаю о малыше, который растет во мне. Пусть бы это был мальчик, хотя я и девочке буду рада. Надеюсь, Джамалутдин не будет ругаться так, как Загид. Роды еще не скоро, в самом конце весны, и пока в моем теле нет никаких изменений. Живот по-прежнему плоский, тошнота прошла, поэтому я работаю почти как раньше, чтобы не злить Расиму-апа, а Джамалутдину говорю, что стараюсь отдыхать, как он велел.

Джамалутдин возвращается на третий день. Расима-апа, сообщив ему, что он дважды стал дедушкой, добавила, что девочки, Айша и Ашраф, обе выживут, хотя и совсем крошечные. Ее слова сочатся медом, на губах улыбка, а в глазах страх – как племянник воспримет двойной позор сына? Я наблюдаю за Джамалутдином из дальнего угла комнаты – он остается спокойным, лишь спрашивает, как себя чувствует Агабаджи, и, удовлетворившись ответом, уходит на свою половину.

Чуть позже захожу к нему с чайником горячего мятного чая. Джамалутдин уже переоделся в домашнюю одежду и умылся, его влажные волосы мелко вьются, на уставшем лице печаль и тревога. Раньше я его таким не видела. Замираю в нерешительности. Он, сидя по-турецки на циновке, читает Коран. Подняв голову, Джамалутдин откладывает Священную книгу и подзывает меня, похлопав ладонью по подушке рядом с собой.

– Садись, побудь со мной, пока отдыхаю. Потом мне нужно уехать.

– Опять? – вырывается у меня, но я тут же испуганно закусываю губу.

– Не хочешь, чтобы уезжал? – На его губах улыбка, и глаза оттаяли, стали не такие настороженные.

Я киваю, стыдливо опустив голову. Знаю, нельзя в таком признаваться, но не могу говорить мужу неправду, ведь он сколько раз внушал мне, что это грех.

– До ночи вернусь. – Джамалутдин отставляет в сторону опустевшую чашку и жестом останавливает мой порыв налить еще. – Хочу побыть с тобой, пока не начался Рамадан.

– Он уже через неделю...

Только сейчас до меня доходит, что целый месяц мы будем спать в разных спальнях. Джамалутдин не сможет приходить ко мне по ночам, пока длится пост. Хотя религия позволяет мужу и жене вступать во время Рамадана в интимные отношения после захода солнца, лишь немногие решаются на это, считая более правильным не грешить в священный месяц.

– Не надо расстраиваться, Салихат. – Джамалутдин кладет руку на мой живот. – Самое главное мы успели сделать.

– Вы ругать меня станете, если там девочка? – шепчу я, ощущая тепло его большой ладони через тонкую ткань платья.

– Я не такой глупый, как Загид, – смеется Джамалутдин, но тут же снова серьезнеет. – Девочки тоже нужны, кто будет рожать, если женщин не останется? Но если первой будет девочка, потом непременно должны родиться мальчики.

Я согласно киваю. Знаю, мне предстоит не единственные роды, и заранее к ним готова, пусть даже каждый раз придется проходить через мучения. Рождение детей для замужней женщины – благо, и плохо той, которую Аллах обделил этой милостью. Бездетная женщина – бесчестье для своих родителей и мужа, который с ней разводится или берет вторую жену. В каждом селе живет хотя бы одна такая несчастная, которую с позором вернули в родной дом. Кроме моей мачехи Джамили, у нас есть еще одна такая, Эйлиханум-апа. Она живет на краю села, в покосившемся домике, одна после смерти родителей. Эйлиханум-апа старая, ей уже больше сорока. Половину жизни она провела в позоре, после того как муж вернул ее, бракованную, и женился на плодovитой. Бедная Эйлиханум-апа совсем сошла с ума: стала считать детей бывшего мужа за своих, подкарауливала девочек у родника и зазывала к себе, чтобы угостить чаем с лепешками. Хотя они уже выросли, до сих пор обходят дом бывшей жены отца стороной. Мне всегда было ее жалко, и я не могла

без слез смотреть на трясущееся лицо Эйлиханум, когда встречала ее по дороге к роднику.

– У тебя нигде не болит? – спрашивает Джамалутдин.

Хоть он задает этот вопрос не в первый раз, я все равно удивляюсь. Представляю, что отец спросил о таком у Жубаржат, а Загид у Агабаджи, и становится смешно. Этим мужчин интересует только, когда будет горячий ужин и родится ли у них очередной мальчик. И снова, как это часто бывает со мной последнее время, я думаю: ведь меня мог сосватать не Джамалутдин вовсе, а один из таких, как Загид. Думаю так и холодею от страха, как когда-то от мысли, что выхожу за Джамалутдина. Да, в моей голове всегда много путаницы. Лучше уж пойти и сделать что-нибудь по хозяйству, тогда времени на всякие глупости не останется. Я всегда так делаю, когда начинаю думать не к месту.

– К тебе в гости никто не ходит, – продолжает Джамалутдин. – Я спрашивал у Расимы-апа.

Конечно, хочу я ответить, никто не приходит, как я могу кого-то позвать, если совсем не выхожу из дому? Джамалутдин понимает это по моему лицу, потому что говорит:

– Завтра утром иди на родник за водой. Там повидеешь своих подруг и пригласишь на чай. Мы с Загидом уезжаем на целый день, никто мешать вам не будет. Только смотри, не набирай полные ведра!

Не в силах скрыть радости и благодарности, прижимаюсь к мужу, его борода колет мне щеки, он смеется. Вот так, мне даже не пришлось просить, а ведь со дня свадьбы я все думала, как бы это сделать, чтобы не разозлить его.

Ночью я особенно сильно стараюсь доставить Джамалутдину удовольствие, и он шепчет мне такие слова, которые я никогда, ни за что не повторю вслух.

* * *

На другой день из мужчин в доме остался один Мустафа, но и он после завтрака ушел в школу и в мечеть до самого вечера. Агабаджи в своей комнате оправляется после родов, еду ей носит Расима-апа. Из-за двери слышно попискивание младенцев. Слава Аллаху, обе девочки

живы. Я поскорей заканчиваю утренние дела, сердце заходится от страха: а ну как Расима-апа не позволит выйти за ворота? Вдруг Джамалутдин, уезжая, не сказал ей, что разрешил мне сходить на родник? Пока раздумываю, как бы подступиться к Расиме-апа, она сама подходит, когда я за домом развешиваю белье, и, швырнув мне под ноги ведро, молча уходит. Я хватаю ведро и спешу к воротам, опасно озираясь на дом, но за занавесками никакого движения.

Открываю калитку и выхожу на дорогу. Это так странно после четырех месяцев заточения. На мне вязаная кофта, которая плохо спасает от ветра. По небу бегут тучи, солнца нет третий день подряд. Того гляди, зарядят осенние дожди, а теплой куртки у меня нет, придется просить у Джамалутдина.

Надо спешить, и не только потому, что Расима-апа запомнила время моего ухода. За водой обычно ходят рано утром и перед обедом, а потом уже только вечером, так что скоро на роднике никого не останется. Он недалеко, надо только подняться на некрутой пригорок. Там, под старыми деревьями с высохшими стволами, в любую погоду стоит очередь из женщин, которые болтают и ждут свой черед набрать ледяной и чистой, как слеза, воды.

Издали пытаюсь понять, кто там, у родника? Вижу четыре закутанные фигуры, но лиц не рассмотреть. Спешу, тороплюсь по разбитой дороге, не обращая внимания на грязь, не успеваю засохнуть после недавнего дождя. Как я хочу увидеть Жубаржат! Обнять ее, узнать, как мои братики и сестрички. Но Жубаржат среди женщин нет. Воду набирает Арувджан-апа, за ней стоит, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, Фаиза Акифова. Она только весной вышла замуж, ей на тот момент двадцать шесть стало. Отец думал, уже не удастся сбыть ее с рук, но нашелся покупатель, хромоногий вдовец, так что Фаиза с тех пор ходит гордая, задрав длинный нос, будто в том, что старой девой не осталась, целиком ее заслуга.

Вот Фаиза отходит в сторону, и я вижу свою подружку Генже. Она с младшей сестрой, Гульзар, вдвоем-то можно больше воды унести. Генже звонко смеется, показывая белоснежные зубы, они у нее так и сверкают на смуглом лице. Арувджан-апа хмурится, вот-вот сделает замечание. Негоже молодой девушке так себя вести, особенно когда неподалеку от родника прогуливаются парни. Знаю, почему Генже смеется. Один из парней – Фаттах, он давно ей нравится, и она все

ждет, что он ее засватает, а Фаттах не торопится, только посматривает на Генже да скалит зубы.

Тут Генже видит меня и, бросив ведро и наплевав на приличия и на то, что о ней Фаттах подумает, кидается навстречу.

– Салихат, сестренка, мы думали, ты мертвая, слышишь, да?!

Она понимает, что сказала глупость, и поспешно добавляет:

– Ведь со свадьбы тебя не видать, слухи всякие ходят, будто тебя в доме держат, никуда не пускают. Скажи, как ты, только скорей, моя очередь подходит. Если вовремя домой не приду, отец прильет, да!

Гульзар делает сестре отчаянные знаки, но та отмахивается, в нетерпении теребя меня за кофту. Я рада видеть Генже, но тут долго стоять нельзя, да и холод проникает в самые кости.

– Все расскажу, Генже. Вот что, ты приходи ко мне сегодня после обеда попить чая.

Генже глядит, словно не веря, что я это всерьез. На ее лице такой страх, что мне становится смешно.

– Правду говорю, можешь прийти, муж позволил, его дома сегодня нет.

– А, ну тогда приду! – Она снова улыбается. – Вот только отец уйдет, у матери спрошусь хоть на часок. Больше нельзя, за малышами надо смотреть.

– И про Мину не забудь, захвати ее с собой.

– Да ведь Мины нет.

– Вай, что говоришь? Умерла, да?!

– Аллах с тобой, живая! Засватали ее, свадьба сразу после поста, вот она и сидит дома, так что считай, нет ее... Набери и мое ведро! – Это она сестре.

– А кто засватал? Не Хайрулла ли Ширханов, на которого она заглядывалась?

– Ай, нет. – Генже мрачнеет. – Хайрулла в город подался, на заработки, говорят, сейчас он уже в России. А там спутается с русской потаскухой и останется насовсем, не он первый, да ты сама знаешь. Как Хайрулла уехал, старый Эмран-ата сразу тут как тут. Вот как ждал, поняла, да? Мина плакала, в ногах у отца валялась, да только он ее избил и в чулане замкнул. Не выпускает.

Генже начинает всхлипывать, ей уже плевать, что Фаттах может услышать, а может, она как раз хочет, чтобы он услышал. Вдруг он

тоже уедет в Россию, а неженатых парней в селе почти не осталось, одни вдовцы да те, кто вторую жену взять хочет. Есть такие, кто не разводится, а просто берет еще одну, хотя официально это запрещено. Да только кто в наше село сунется, чтобы порядок навести?

Мне становится не по себе, как подумаю о том, что красавица Мина достанется уродливому Эмрану-ата, похоронившему в прошлом году вторую жену, которая померла от старости. У него уж и внуки подрастают, как же бедняжка Мина с ним станет жить? Но некогда раздумывать над судьбой подруги, домой пора. Подставляю ведро под струю, она тонкая, ждать долго. Говорю Генже:

– Скажи, видишь ли ты Жубаржат? Здорова она? Ходит сюда?

– Ай, вижу, сестренка, почти каждый день вижу. Ничего, здоровая, только страсть какая худая, вот будто совсем ничего не ест, да. Про тебя спрашивала, не слышала ли я какие новости, но я сказала: «Не слышала, Жубаржат, да и тебе-то лучше знать, все-таки ты за отцом Салихат замужем».

Мне сразу такое облегчение! Значит, с Жубаржат все хорошо, раз на родник ходит. Дожидаюсь, пока ведро наполнится наполовину, и спешу обратно. За месяцы, что живу с Джамалутдином, отвыкла ходить на родник. Забыла, какое ведро тяжелое, а ведь до свадьбы таскала полные ведра на другой конец села. Железная дужка больно врезается в ладонь, каблуки туфель попадают в выбоины на разбитой дороге. Я теперь хожу не в резиновых галошах, а в настоящих туфлях, какие раньше лишь по праздникам надевала. Напоминаю сама себе городскую фифу, которая черной работы в глаза не видела. Хорошо, никто навстречу не попался, не то разнесли бы весть, что Салихат Азизова совсем от работы отвыкла.

Вхожу во двор, и Расима-апа тут как тут – брезгливо заглядывает в ведро, где на дне плещется вода, и велит ощипать кур, которым она только что свернула головы. Это мне наказание за поход к роднику. Расима-апа знает, что хуже для меня занятия нет, особенно сейчас, когда я от плохих запахов впадаю в дурноту. Но я так рада, что смогла отлучиться из дома и что скоро придет Генже, что безропотно выполняю ее поручение, и позже пеку чуду с курятиной, хотя самой есть их не хочется.

Сегодня Агабаджи в первый раз после родов вышла на кухню. Видимо, голод выгнал ее из комнаты, и она, прислонившись к

дверному косяку, молча стоит и смотрит, как я смазываю взбитым яйцом чуду перед тем, как ставить в духовку. Смотрю на ее лицо – ведь хочет есть, но не попросит. Помнит, как гадость мне сказала, когда я ее поздравляла. Жалко ее, она такая изможденная, с опавшим животом, в грязном халате и нечесаная, поэтому кладу на тарелку два горячих чуду:

– Вот, возьми, поешь!

Но Агабаджи отворачивается и уходит. Позже Расима-апа собирает для нее еду на поднос. Мне хочется крикнуть ей вслед: «Как Агабаджи станет есть мою стряпню, если я ей хуже чумной?» Но я молчу, я не могу сказать этого вслух, и столько мыслей каждый день умирает в моей голове, потому что удел младшей в семье – соглашаться и молчать.

После обеда спрашиваю разрешения у Расимы-апа принять Генже. Ей хотелось бы мне отказать, но Джамалутдин и на этот счет оставил указания. Она с недовольным лицом кивает, прибавив, что мне повезло, сегодня она никого в гости не ждет, поэтому зала свободна. Скорей, пока она не передумала, приготавливаю все для чая, приношу небольшое блюдо с чуду, пиалу с колотым сахаром и цветные карамельки без фантиков, одеваюсь в нарядное платье и жду Генже, молясь Аллаху, чтобы мать отпустила ее.

Наконец вижу в окно, как она заходит во двор и останавливается, опасно глядя на дом. Выбегаю и тащу ее за собой, а она сопротивляется, прикрывая лицо платком, и бормочет:

– Точно мужчин нет дома? Отец если узнает...

– Идем, идем. Там только Расима-апа и Агабаджи.

Оказавшись внутри, Генже смотрит по сторонам, не скрывая любопытства, и восхищенно прищелкивает языком. Сама-то она уютится с двумя младшими братьями и тремя сестрами в одной комнате, а в другой спят родители. Отец ее с зимы без работы, живут на то, что присылает старший брат Генже Нурулла, который на заработках в России. Об этом никто не говорит, но все знают, что Нурулла живет в Москве с одной русской – у них даже ребенок уже есть – и возвращаться не собирается, хотя ему давно засватали хорошую девушку. Теперь мать Генже соседям в глаза смотреть не может со стыда. Генже иногда мечтает, что уедет жить к брату и там выйдет замуж, но сама понимает – этому не бывать. Никому Генже не

нужна, кроме своей матери, да и то потому, что помогает той с детьми управляться. Скоро Генже выдадут замуж – избавятся, чтобы не была лишним ртом, а за малышами станет ходить Гульзар, пока не придет ее очередь быть засватанной. К тому времени одна из младших девочек подрастет ей на смену, а там и сыновья приведут жен, мать и не заметит, что дочери одна за другой покинули дом.

Наливаю Генже чаю. Она кладет в стакан сразу пять кусков сахара, и еще один берет, чтобы пить вприкуску. В доме у них сахару никогда не бывает, если только по праздникам, да и то не для всех. Младшие не знают вовсе, что такое сладости. Подкладываю Генже чуду одно за другим, и она все съедает, хоть и уверяет, будто не голодная. Мы говорим о Мине, о том, что нас наверняка позовут раскрашивать ее хной, как самых близких подружек, и на свадьбу тоже позовут, хоть будет уже холодно сидеть целый день во дворе, лучше, когда свадьба летом, как моя.

– А муж тебя к Мине отпустит? – шепчет Генже, испуганно косясь на дверь.

Мне смешно, я не знаю, как объяснить подруге, что муж совсем не страшный и не злой и что я им за все месяцы ни разу не битая. Поэтому просто говорю, что отпустит, если попрошу хорошенько.

– И как тебе тут живется? – спрашивает Генже, хрустя карамелькой.

В ее глазах плещется любопытство, она нетерпеливо ерзает по кушетке: столько всего надо спросить, а времени мало, вот-вот истечет отведенный ей час, а потом надо спешить домой.

Рассказываю про свои обязанности, про Расиму-апа. Генже кивает, она не удивлена, свекрови все одинаковые, говорит она важно, тут ничего не поделаешь, надо терпеть и угождать ей, как мужу.

– А Агабаджи? Вы дружите?

– Нет, – качаю головой. – Она странная...

– Как это? – Генже аж вперед подалась, так хочет скорее узнать подробности.

– Молчит, из комнаты почти не выходит. Как будто сердится на что-то или обижается. Родила на днях, ты слыхала? Двух девочек.

– Вай! Вот ужас-то, сразу двух! – Подруга всплескивает руками. – Муж побил ее?

– Не побил, но ругался сильно.

– Добрый, повезло ей. Ты только представь: две девочки. – Генже потрясена. – Не дай Аллах семье такое горе.

– Почему горе? Ведь они живы-здоровы.

– Ох. – Всем своим видом Генже дает понять, что лучше бы девочкам вовсе не появляться на свет. – Ну, а ты пока не?.. – Она делает красноречивый жест рукой.

Опускаю глаза и киваю, сдерживая радость и гордость. Генже первая, кому я говорю после Джамалутдина. Подруга обнимает меня, поздравляет и желает благополучного разрешения, ну и чтобы мальчик, конечно. Я говорю, что до мая еще так много времени. Мне странно сознавать, что внутри ребеночек, он никак о себе не заявляет.

– Как же тебе повезло. – Генже вздыхает. – Ты замужняя, живешь в богатом доме и понесла так быстро... А как у меня сложится, одному Аллаху ведомо.

Участливо сжимаю ее пальцы, пытаюсь утешить, только слова звучат фальшиво. Кто знает, какая судьба ждет Генже? Конечно, Фаттах заглядывается на нее, но решать все равно его родителям. И если до сих пор те не отправили сватов, значит, присмотрели для сына другую. Отец у Генже не лучше, чем у Мины. Отдаст первому, кто посватается. Да все отцы одинаковые, спешат сплавить дочерей, чтобы не принесли позор в семью или не остались старыми девами.

Генже пора уходить. Она благодарит за угощение. Я приглашаю придти еще, и она обещает. Провожая подругу до ворот, возвращаюсь и собираю грязную посуду. Расима-апа дремлет после обеда в своей комнате. Я снова одна, мне грустно и хочется, чтобы скорее вернулся Джамалутдин. Прошли те дни, когда я боялась его и радовалась, когда он уезжал. Теперь боюсь только одного: вдруг он уедет и больше не вернется?

Уже неделя, как идет Рамадан, священный для мусульман месяц. Именно в этот месяц людям, живущим на Земле, был особой милостью Всевышнего ниспослан Коран. В Рамадан особенно много запретов, и не только на прием пищи в светлое время суток, но и на многое другое. Нельзя сквернословить, проводить праздное время и сплетничать, надо читать духовные книги, ходить в мечеть, навещать родственников и делать богоугодные дела.

Я впервые за много лет могу не поститься. Беременные и кормящие приравниваются к больным, то есть не способным держать пост. Поэтому мы с Агабаджи едим, когда захотим, а Расима-апа, Джамалутдин, Загид и Мустафа ждут темноты. К счастью, уже конец октября, поэтому темнеет рано, можно успеть поесть до наступления ночи. Но все равно, каждую третью ночь мне теперь не спать: готовить и подавать. Мы, женщины, дежурируем по очереди, отправляясь в постель только перед утренним намазом. Загид, который любит поесть и страдает от дневных запретов больше отца и брата, приказал жене приступить к своим домашним обязанностям, какие она выполняла раньше, и это хорошо, ведь иначе мне пришлось бы не спать чаще. Загид все еще зол на Агабаджи, и она, страшась мужниного гнева, слушается его беспрекословно. Малышки много спят, так что Агабаджи только кормит их да укачивает.

Уже неделя, как Джамалутдин не приходит ко мне в спальню. Теперь муж даже коснуться меня не может до заката. На супружеские ласки при свете дня такой же строгий запрет, как на еду и питье. Джамалутдин останется дома, пока будет длиться Рамадан, так он мне сказал. Он отложил свои дела, читает Коран или ходит с Мустафой в мечеть. Муж не любит, когда его отрывают от чтения Священной книги, поэтому я стараюсь не входить к нему лишний раз без нужды, а только когда он сам меня зовет или возникает неотложный вопрос.

Я не перестаю удивляться Джамалутдину. Его мысли, поступки и слова не доступны моему пониманию. Мы никогда не обсуждаем, куда он ездит, что его тревожит, чем он живет и с кем общается. Джамалутдин не спрашивает, кто приходит на женскую половину, ему

это, кажется, безразлично, если только визитеры – не мужчины. Вот Загид, тот не преминет каждый раз после ухода гостя подробно расспросить Агабаджи, кто приходил, к кому да зачем. Джамалутдин ни разу не давал мне денег, да мне они ни к чему, тратить-то их негде и не на что. Все, что нужно лично мне, он привозит сам, а остальное покупает Расима-апа. Иногда меня подмывает спросить, большой ли выкуп получил отец и как идет их общий бизнес по торговле овощами, но, конечно, я никогда не спрошу о том, что меня не касается.

На людях муж суров и немногословен, при Расиме-апа и сыновьях говорит со мной сдержанно, но стоит нам остаться вдвоем, он меняется. В глазах появляется странное выражение, которое я не могу разгадать. Джамалутдин старается не проявлять нежностей, они недостойны мужчины и только портят жену, но он с удовольствием трогает мои волосы, или еще как-нибудь показывает, что я ему нравлюсь. В постели это совсем другой человек, и не знаю, найдется ли у какой-нибудь женщины более страстный муж. Так странно, что наутро, после всего, что мы делали, Джамалутдин каждый раз снова отстраняется. Он спешит по своим делам и может вернуться через несколько дней, не предупредив об отъезде. Кажется, будто он забывает обо всем – о доме, о семье, – едва оказывается за пределами двора. Меня это не удивляет и не обижает, я воспринимаю как должное все, что делает муж.

Я выкинула из головы мысли о его первой жене и о том, что Джамалутдин с ней сделал. Мне не узнать, как все было на самом деле. Главное родить здорового мальчика. Тогда моя жизнь изменится к лучшему, хотя и сейчас все хорошо, ведь если не считать вечно недовольной Расимы-апа и неприятного Загида, я, пожалуй, самая счастливая женщина в нашем селе. У отца мне жилось куда хуже. Уже одно то, что я забыла про побои, кажется чудом (та пощечина от Расимы-апа не в счет). Единственное, о чем я скучаю из своей прежней жизни, это Жубаржат и ее дети. Ну, и по Диляре скучаю, конечно.

С приходом поста в доме не слышно громких звуков, телевизор на мужской половине стоит выключенный. Загид почти весь день спит, чтобы не растрачивать силы и не мучиться от жажды – с ней труднее справиться, чем с голодом. Он даже курить на время бросил, а я-то была уверена, что он даже спит с сигаретой в зубах. Расима-апа теперь

совсем благочестивая, к ней ходят подружки читать Коран да вести богоугодные беседы, только без чая и сладостей, которые я им раньше подавала.

Не во всех семьях соблюдают Рамадан. Кто-то просто не ест днем, а в остальном ведет себя как обычно; другие и вовсе не боятся гнева Всевышнего, принимая пищу, когда вздумается, – конечно, не на людях, но за закрытыми дверями. Всякое происходит, главное, чтобы соседи не увидели. Мой отец говорит про таких, что они будут гореть в аду за свои грехи. Сам он заставляет соблюдать пост даже малышей и беременную жену. Помню, однажды, будучи лет семи или восьми, я так захотела пить, что не удержалась и тайком, как мне казалось, выпила кружку воды до наступления темноты. Но отец увидел. Он избил меня, а потом два дня не давал пить. Я едва не умерла от жажды, и только мольбы мачехи заставили отца сжалиться надо мной и отменить запрет. С тех пор я больше не помышляла о нарушении поста.

Я сижу на кухне и торопливо, пока не увидела Расима-апа, ем курзе с соленой черемшой, запивая теплым чаем. Днем я стараюсь не готовить горячую пищу, чтоб не дразнить домашних, и нам с Агабаджи приходится довольствоваться пирожками да холодными лепешками, и только ночью мы едим хинкал, и суп, и мясо. Не успеваю отправить в рот последний кусочек, как заходит Расима-апа. Увидев меня за недостойным занятием, она недовольно поджимает губы. Я, хоть и выполняю распоряжение Джамалутдина, все же чувствую вину. По себе знаю, ужасно видеть, как кто-то ест, когда тебе нельзя. Поэтому, не допив чая, поспешно выплескиваю остатки в раковину. Во время Рамадана Расима-апа днем на кухню не ходит, значит, что-то срочное.

– К тебе пришли, – говорит она.

Кто это может быть? Неужто Генже? Скорее всего, ведь я звала ее приходить снова, как только у нее получится. Только придется на этот раз обойтись без угощения. Может, Генже пришла почитать Коран? А вдруг с ней Мина? Вдруг отец позволил ей выходить из дому, отменив запрет на время Рамадана?.. Теряясь в догадках, спешу в гостевую комнату. Вхожу и не могу сдержать радости: Диляра!

Она в тяжелом пальто, кое-где тронутым молью, и в теплом платке, ведь недавно шел мокрый снег. Мы обнимаемся и целуем друг друга, а потом Диляра снимает пальто, оставшись в широкой

сборчатой юбке и кофте с люрексом. Живот у нее очень большой, и я говорю сестре, чтобы скорее садилась. Когда прошел мой первый восторг, удивленно спрашиваю, как она здесь оказалась.

– Соседи наши, Шомаевы, приехали к родственникам и согласились взять нас с Назаром. Своей машины-то у нас нет. Я пристала к Назару, что хочу проведать отца и мачеху. Муж не посмел отказать, и Рагимат-апа тоже. Она такая богобоязненная! Заставляла меня пост держать наравне со всеми, да Назар воспротивился.

– Ты, наверное, пить хочешь! – спохватываюсь я. – Сейчас чай принесу.

– И поесть бы немножко. – Диляра виновато улыбается. – Ели-то мы ночью, а позавтракать я не успела. А отца, сама знаешь, сейчас просить бесполезно, он и воды не даст.

Приношу Диляре курзе и кусок баранины, на который, я знаю, Загид глаз положил, чтобы съесть после заката. Ну, он-то обойдется, а сестре надо хорошо питаться, тем более, она с мужем небогато живет, мясо в их доме не каждый день бывает. Терпеливо жду, пока Диляра утолит жажду и голод, а потом приступаю к расспросам. Нам обеим столько надо узнать друг у дружки!

– Как Жубаржат? Как отец? Как малыши? – засыпаю я Диляру вопросами.

Хочу знать про всех сразу, но особенно про мачеху. После того как мы виделись последний раз, боюсь, ей совсем стало худо.

– Отец хорошо, – начинает Диляра, а сама почему-то глаза прячет. – Правда, недавно простыл, сейчас кашляет. Малыши подрастают, сестренки такие хорошенькие, видно, что красавицами станут, когда вырастут! Алибулатик кушает хорошо, все время улыбается.

– Ну а Жубаржат? Жубаржат что?

Диляра минуту молчит, а потом отвечает медленно, будто специально слова подбирает.

– Худая стала. А так, ничего...

– Наверное, снова ребеночка ждет?

– Нет.

Диляра кусает губы, смотрит в сторону и нехотя добавляет:

– Отец бьет ее.

– Так и нас бил, вот новость.

– Не так, как нас. – Сестра поднимает взгляд, в ее глазах застыли слезы. – Ох, Салихат! Боюсь я за нее. Как бы чего не вышло...

– Чего не вышло? – Страх внутри поднимается, прямо из живота к горлу, не дает дышать нормально. – Или не все говоришь, да?

– У Жубаржат ноги все синие и спина... Только лицо чистое, а под одеждой... – Диляра зажмуривается и трясет головой.

– Откуда знаешь?

– Мне по надобности приспичило, а в уборной Жубаржат – платье опрала, не успела прикрыться, когда я вошла. Она сначала отпиралась, потом заплакала и просила, чтобы я никому...

– Ай, как плохо. Надо ее родителям сказать или брату!

– Да они забыли уже, что она жила с ними когда-то.

Диляра права. Никакой отец не вступится за замужнюю дочь, если ту муж бьет, скажет – сама виновата. А братья ее всегда на стороне отца. Сестры для них что занозы, от них одни неудобства. От ужаса, что Жубаржат может умереть от побоев, я холодею.

– Что не так она делает? Разве перечит ему? Разве плохая жена? Скажи! – требую я у сестры, как будто она в ответе за поступки отца.

– Ничего не знаю. – Сестра решительно обрывает разговор, который ей не по душе. – Ай, зачем только тебе сказала. Жубаржат сама разберется. А то у нас больше забот нет, как о ее синяках думать.

– Тебе она никогда не нравилась.

– Глупости говоришь. Она нам вместо матери была, заботилась о нас. Только я не хотела к ней привязываться. Знала, выйду замуж – потеряю всех, кого люблю. Мать умерла, Джамилю отец выгнал, еще и Жубаржат пришлось бы от сердца отрывать? Так что я сразу решила: люблю только тебя, коли ты моя сестра.

Я обдумываю ее слова и соглашаюсь. Женщине ничего не принадлежит, даже ее дети. Все, что она видит, трогает и носит – собственность мужчины, который над ней главный: отца, брата или мужа. Женщина владеет чем-то только до тех пор, пока мужчина не решил, что теперь будет иначе, и не отнял детей, или украшения, или одежду – чаще всего в наказание за проступок. Но бывает такой муж – и без проступка накажет. Девушка, едва ее сосватали, считай, теряет и родителей, и сестер с братьями, даже если жених живет в соседнем доме. Так что в словах Диляры много мудрости. Она старше всего на год, а какая взрослая!

– Ты сама как? Давай скажи. – Диляра нетерпеливо дергает меня за рукав. – Мне ведь спешить надо, Назар не велел задерживаться. Нам обратно с Шомаевыми возвращаться, не дождутся нас – придется пешком идти.

Говорю Диляре, что живу хорошо, что муж мною доволен, потом сообщаю главную новость. Я уже могу не краснеть, когда рассказываю о ребеночке. Диляра рада, ей самой рожать в следующем месяце. Надеюсь, все пройдет хорошо, ведь мы вряд ли скоро увидимся. Перед тем как уйти, Диляра выпивает еще одну чашку чая. Когда я ее проводила почти до дверей, вдруг появляется Агабаджи. Судя по всему, она не знала, что у меня сестра в гостях, потому что встала как вкопанная и смотрит на Диляру, не мигая. Диляра тоже смотрит, и лицо у нее при этом странное: насмешливое и снисходительное. Так они стоят минуту или две, а потом Агабаджи разворачивается и уходит.

– Ты не обращай внимания, – растерянно говорю я Диляре. – Она всегда такая.

– Ох, как же не хотелось с ней встречаться. – Диляра досадливо морщится, с трудом натягивая пальто, которое ей тесно.

– Не понимаю, что с Агабаджи. Я ничего плохого ей не делала.

– Ай, сестренка, глупая ты! – Диляра улыбается. – Агабаджи родом из Назарова села. Нравился он ей, замуж за него хотела. А Назар за меня посватался, понимаешь теперь?

Да, теперь понимаю. Если бы Диляра раньше сказала, я бы по-другому вела себя с Агабаджи. А теперь уж поздно, нам не подружиться.

Сестра уходит, и дом снова погружается в тишину.

Я еще не знаю, что видела ее в последний раз. Когда они с мужем поедут обратно, водитель потеряет управление на скользкой дороге, машина перевернется, и Диляра, не пристегнутая ремнем, погибнет. Назар останется жив, но выйдет из больницы без руки и с обезображенным лицом. Обо всем этом Джамалутдин расскажет мне только через два месяца, когда могилу Диляры уже заметет снегом.

Я держу на руках своего сына. Ему всего час от роду, и с трудом верится, что это и правда он – мой малыш, устало дремлющий после трудного пути. Я люблю крохотными пальчиками, темным пушком в том месте, где позже будут брови, и прядками влажных волосиков. Я совсем не чувствую усталости и боли, хотя простыня подо мной намочила от крови. Мне странно, что я не умерла от мук, силу которых раньше не представляла. Но я готова терпеть и большую боль, лишь бы появлялось на свет очередное дитя.

За распахнутым окном теплый майский день. Со двора доносятся ритмичные звуки – это Агабаджи отбивает валиком белье. Я перестала ориентироваться во времени, с тех пор как ночью проснулась от необычных ощущений в пояснице. Время, помноженное на боль и страх, тянулось так медленно, казалось, с начала родов прошло два дня, а то и целых три. Я почти не помню, что говорила и делала Мугубат-апа, но она определенно была здесь, командовала мною, как раньше командовала Агабаджи, и я выполняла все, что она велела. В комнате была Расима-апа, она стояла в отдалении, не приближаясь к кровати, и наблюдала за моими муками. В какой-то момент я очутилась в липкой темноте, где было страшно и одновременно хорошо, но властный голос Мугубат-апа заставил меня вернуться обратно.

Расима-апа хотела забрать уснувшего ребенка, чтобы положить в колыбельку, но я не отдала. Так крепко в него вцепилась, что пришлось бы отрывать малыша силой, чтобы унести. Испугалась: вдруг он исчезнет, пока я сплю, и, когда проснусь, его уже не будет? Расима-апа пробормотала что-то насчет головы, которая не в порядке, и ушла, а я стала ждать Джамалутдина.

Конечно, ему сразу сказали про сына. Но я не слышала ни выстрелов из ружья, ни радостных криков во дворе. Может, Джамалутдин и вовсе уехал по делам, не дождавшись окончания родов. Ведь это не первенец для него, глупо ждать восторга и волнения от такого сдержанного человека. Когда начались схватки, Джамалутдин зашел в спальню, сказал, что уже послали за Мугубат, и

ушел. Ни слова ободрения, ни ласкового взгляда, ни тревоги на лице. С той минуты я его больше не видела, но даже во время сильных приступов боли не забывала, что он в доме, и старалась сдерживать крики, как это делают наши женщины испокон веков.

И вот чудо свершилось. Теперь я буду неустанно благодарить Аллаха за безграничную милость Его. Я еще не знаю, как зовут малыша, это решит Джамалутдин. Мне страшно, что сынок может умереть от неведомой детской болезни или просто потому, что многие новорожденные умирают. У одной соседки умерли подряд трое (и как только она не сошла с ума от горя), но потом она родила еще одного, и он остался жив.

Сынок такой маленький и хрупкий, что кажется почти невероятным, что он когда-нибудь превратится во взрослого мужчину. У него появятся братики и сестренки, но, сколько бы детей ни послал Всевышний, первенец навсегда останется самым любимым и желанным ребенком.

Должно быть, я задремала – проснулась от скрипа отворяемой двери. Малыш на моих руках, отяжелевший и теплый, закричал, не открывая заплаканных глазенок. Я перекидываю его с одной руки на другую и только потом смотрю, кто потревожил наш покой. Это Джамалутдин. Вид у него слегка растерянный, будто он не знает, что ему надо сделать и что сказать.

– Как ты? – спрашивает он.

– Хорошо.

Голос у меня хриплый – наверное, повредила что-то в горле, когда, не сдержавшись, кричала во время особенно сильных схваток.

Джамалутдин осторожно берет младенца. В его руках тот кажется крошечным. Я на миг зажмуриваюсь, боясь, что Джамалутдин или уронит ребенка, или сломает ему что-нибудь. Но муж, не боясь, уверенно поднимает сына и говорит:

– Добро пожаловать в этот мир, Джаббар!

Имя нашему сыну выбрано. Пожалуй, оно вполне ему подходит^[6]. Про себя повторяю имя на все лады, пока Джамалутдин рассматривает ребенка, поворачивая его так и эдак. Похоже, он остался доволен. Положив запищавшего кроху в колыбельку, Джамалутдин садится перед кроватью на корточки и, достав из кармана футляр, открывает и

показывает мне – внутри серьги и кольцо из золота с рубиновыми камнями.

– Ай, красиво! – восхищенно шепчу я, приподнявшись.

– За каждого сына будешь получать такой подарок. Клянусь, заслужила!

Не за дочерей – за сыновей только... Да и правда, кто благодарит жену за девочек? Поэтому согласно киваю, а потом закрываю глаза. Хочется спать. Чувствую, что Джамалутдина рядом уже нет. Входит Расима-апа, меняет подо мной простыни и дает пить. Мне неприятны ее прикосновения, но я не могу ей помешать, сил совсем не осталось.

Джаббар начинает плакать, и я прикладываю его к груди. Он жадно сосет пока еще пустую грудь, больно сжимая деснами набухшие соски. Я нежно целую его лобик и спутанные темные волосенки, вспоминая, как держала на руках своих новорожденных братьев – я не испытывала к ним того, что испытываю сейчас. В который раз благодарю Аллаха за ниспосланное мне счастье, а потом, осторожно положив малыша рядом, засыпаю.

Следующие два дня такие долгие! Я встаю только в уборную или покачать колыбельку. Расима-апа приносит поесть, а в остальное время я или сплю, или смотрю в стену, отчаянно скучая по мужу. Мне нельзя быть с ним в течение всего нифаса, сорока дней после родов. Когда Джаббарик просыпается, я даю ему грудь, меняю пеленки и снова укачиваю.

Один раз заходит Агабаджи. Она поздравляет меня с сыном, а у самой в глазах холод и на губах нет улыбки. Судя по всему, Загид заставил ее прийти. Не дожидаясь моего ответа, она спешит уйти, положив руки на округлившийся живот. Ей рожать в сентябре. Я рада, что Агабаджи так быстро ушла. Каждый раз, как смотрю на нее, вспоминаю Диляру и тот день, когда видела ее в последний раз. Конечно, Агабаджи не виновата в гибели Диляры, но я помню взгляд, полный ненависти, которым она одарила мою сестру. Агабаджи и слезинки по ней не проронила, это уж точно. Полгода уж прошло, а все никак не могу забыть. Назар, говорят, присматривает себе новую жену, только у Агабаджи уже есть муж, так что надеяться ей не на что. Да и посмотрела бы она теперь на калеку? Говорят, он совсем страшный, лицо все обожженное, и рукав рубахи заправлен за пояс штанов.

Я впервые, как себя помню, лежу и бездельничаю, ведь я ни разу ничем не болела. Интересно, что сделал бы со мной отец, если бы увидел днем в кровати? Разве роды уважительный повод, чтобы лежать? Жубаржат – та почти сразу вставала и шла готовить обед. С Алибулатом получилось по-другому, поэтому отец и разозлился на нее так сильно.

Как-то там Жубаржат? Ничего я о ней не слышала с тех пор, как Диляра про нее рассказала. Даже если мачеха умерла от побоев, никто мне не скажет. Про Диляру Джамалутдин долго молчал – боялся, что ребеночек раньше срока выйдет. А когда признался, сказал: «Твоя сестра уже похороненная, забудь!» У нас не принято, чтобы женщины ходили на похороны. Мужчины заворачивают мертвое тело в ковер и относят на кладбище. Женщины могут дома поплакать, пока мужчины не вернулись. А после уж никаких слез, ничего. Так и я, узнав про Диляру, плакать не стала. Забилась в укромное место и посидела немного, закусив рукав кофты, чтобы не завывать от горя. Потом встала и пошла обед готовить.

Со смертью сестры будто еще одна ниточка порвалась, которая меня с родным домом связывала. Маму я не помню, придется и про Диляру забыть. Если Жубаржат предстанет перед Всевышним... что ж, забуду и про нее. Теперь в моей жизни только Джамалутдин и Джаббар, пока новые детки не появились.

Через неделю после рождения Джаббара я уже полный день работаю по дому, и Расима-апа очень этим довольна. Агабаджи снова прикидывается больной, у нее это в привычку вошло. Мне легко без большого живота, который в последние месяцы мешал наклоняться и поднимать тяжелое. Кровь уже почти не течет, боль и страх, пережитые при родах, вспоминаются смутно, картинка того дня блекнет и скоро исчезнет совсем. Джаббар, мой ненаглядный сыночек, хорошо кушает, много спит и не доставляет хлопот, одну только радость. Налюбоваться на него не могу, при каждой возможности ищу в крохотном личике черты Джамалутдина и, когда нахожу, радуюсь еще больше.

Чувствую, что отношение ко мне Расимы-апа изменилось. Она по-прежнему ворчит, если я что не по ней делаю, но в глазах что-то вроде уважения появилось. Тетка Джамалутдина понимает, что, родив мальчика, я по-настоящему вошла в семью, и непросто будет теперь

вернуть меня отцу, чем она грозила в первые месяцы. Агабаджи, разочаровав мужа двумя девочками, хоть и не совсем лишилась расположения Расимы-апа, но перестала пользоваться послаблениями, которые раньше ей выпадали. Видимо, не наладится, что так скоро опять понесла, теперь у нее вся надежда на рождение сына.

Дочками Агабаджи почти не занимается. Когда малышки, ползая по полу, хватают мать за подол юбки, она раздраженно отцепляет крохотные пальчики, а то еще и ногой наподдаст и меня при этом не стесняется. Агабаджи шлепает их, хотя близняшкам нет и восьми месяцев. Когда Айша и Ашраф начинают лопотать, у Агабаджи на лице такое выражение... Стань они немыми, и она спасибо скажет. Мне жаль малышей, поэтому, когда Агабаджи не видит, я тайком ласкаю их, вытираю сопливые носы и меняю штанишки. Они так и льнут ко мне, приходится в присутствии матери не подпускать их близко и не позволять ластиться, не то им достанется – за Агабаджи не заржавеет.

Джамалутдин снова уехал, но для меня привычное дело, что он бывает дома лишь полмесяца, а остальные дни проводит неведомо где. В этот раз, правда, он взял с собой не только Загида, но и Мустафу, хотя тот не хотел ехать. В доме остались одни женщины, если не считать малыша Джаббара. Вот поэтому я и удивилась, когда наутро после отъезда мужа и пасынков Расима-апа велела мне идти на мужскую половину. Зачем, если накануне я там все вымыла-вычистила?

Первая моя мысль, когда увидела на кушетке отца: он стал совсем старик! Лицо в морщинах, волосы и борода поседели, тело похудело и будто сдулось, как воздушный шарик проткнули иголкой. Только выражение на лице осталось прежнее, суровое и подозрительное.

Отец сидит не шевелясь и смотрит на меня в упор. Осмеливаюсь подойти и целую протянутую руку с грязными от вьевшейся земли ногтями.

– Салам алейкум, дорогой отец, – говорю я, как и подобает почтительной дочери.

– Алейкум асалам, Салихат, – отвечает он и заходится в приступе надрывного кашля.

Я терпеливо жду, пока пройдет приступ, потом, не решаясь сесть в присутствии отца, интересуюсь его здоровьем и спрашиваю, не

желает ли он чаю и курзе. Я и двух минут не пробыла в одной комнате с ним, а мне уже хочется сбежать, пусть хоть на кухню за угощением. Но Расима-апа меня опережает. С преувеличенно-радушной улыбкой она вносит поднос с чайником и тарелками, расставляет все на столе и приглашает гостя попробовать угощение, сокрушаясь, что Джамалутдина нет дома, не то оказал бы тестю все почести. Я молчу, пока идет обмен обязательными любезностями, и гадаю, что понадобилось отцу. Если бы он пришел к Джамалутдину, то не стал бы задерживаться, узнав, что тот уехал. Я почти забыла о существовании отца (его дом теперь как другая планета) и оказалась не готова к его появлению, всколыхнувшему во мне ужасы прошлых лет.

Когда Расима-апа уходит, отец пересаживается к столу. Я наливаю ему чай, накладываю на тарелку кушанья и, повинувшись едва уловимому движению бровей, опускаюсь на краешек стула, сложив руки на коленях и опустив глаза.

– Слышал, у тебя родился сын, да продлит Аллах его годы, – говорит отец, и его голос можно даже назвать дружелюбным, в нем нет злобных ноток, к которым я привыкла с детства.

– Моему Джаббару уже почти три недели. – Я не могу скрыть своей радости и надеюсь, что отец разделит ее со мной, ведь это его первый внук.

– Не твоему. – Он хмурится. – Это ребенок Джамалутдина. Дети принадлежат отцу!

– Да, отец, конечно.

– Принеси его сюда.

– Он спит сейчас.

– Ты все такая же своенравная. – Отец качает головой. – Видно, мало муж тебя учит.

Не решаюсь признаться, что Джамалутдин меня и пальцем не тронул за целый год, – чего доброго, отец посчитает своим долгом поговорить с ним о должном воспитании жены. Вспоминаю про Жубаржат, про рассказ покойной Диляры. Вопрос вертится на языке, и я собираюсь с силами, чтобы задать его.

– Как малыши? Как здоровье Жубаржат?

– Здорова, что с ней станется, – ворчит отец, игнорируя вопрос о детях.

– Может, отпустишь ее как-нибудь ко мне ненадолго? Со дня свадьбы не видались...

– Некогда ей по гостям расхаживать, за детьми пригляд нужен да за хозяйством.

Чувствую, он не просто так пришел, только, повинуюсь традициям, не переходит сразу к делу. Не поверю, что отец соскучился по мне или внука захотел увидеть. Должно быть, он знает, что Джамалутдин уехал, и поэтому пришел. Мне не по себе становится, и я встаю со словами:

– Пойду проведу сына.

– Сядь! – рявкает отец.

Воспоминания о ежедневных наказаниях в родительском доме так сильны, что я вздрагиваю от ужаса, забыв, что уже год подчиняюсь мужу, а не отцу. Я едва дышу от страха и сижу, потупившись, стиснув руки, чтобы не видно было, как они дрожат. Пусть бы Расима-апа вошла в комнату! Я уверена, что сейчас отец набросится на меня и начнет избивать.

– Уйдешь, когда разрешу, – уже спокойнее говорит он, и я перевожу дыхание. – Слушай, что скажу, женщина.

Отец впервые так ко мне обращается, и я настолько удивлена, что решаюсь поднять на него взгляд. Он хмурится и смотрит в угол.

– Ты знаешь, что Джамалутдин за тебя выкуп большой дал?

У меня от изумления открывается рот.

– Деньги дал на мой бизнес, много денег, да. Сказал: «Давай, уважаемый, вместе твой бизнес делать, станем с тобой самые богатые люди в долине!» Под условие, что тебя отдам. Я отдал. Он деньги платил, не обманул, честный человек твой муж, да. Я земли еще купил, семена купил, грузовик хороший купил, работников нанял. Летом, в том году еще. Как время урожая стало, Джамалутдину говорю – деньги снова надо, чтобы оптовикам овощи сдавать. Они же сгниют в два дня, если не отвезем, да. Он сказал – некогда сейчас, потом приходи. Я потом пришел, он снова за свое. Говорит – не нужен мне твой бизнес, сам им занимайся, а мне есть о чем думать. Половина урожая пропала, вай, чуть не плакал, обидно стало, понимаешь? Ладно, как зима настала, я к нему не ходил, думал – зачем уважаемого человека зря беспокоить. Весна началась, я снова к нему, мол, пора дела наши делать, а Джамалутдин: «Какие такие наши дела?» Я про уговор ему

напомнил, а он: «Я тебе денег дал, я твою дочь в свою семью взял, что еще хочешь? Ты теперь мой родственник, давай жить по-хорошему!» Что значит для него – по-хорошему? Ты мне скажи, женщина, что твой муж надумал? Почему так со мной обошелся? За что мне такое неуважение и обида? Я старше его, я тебя ему отдал, я условие выполнил, а теперь – «какие наши дела», да?!

Я в ужасе смотрю на отца. И зачем он мне все это рассказал? Зачем впутывает в мужские дела? Хочет, чтобы Джамалутдин меня убил, когда я заговорю с ним о таких вещах? Женские темы для разговоров – это хозяйство и ребенок, а за остальные отец и сам бы свою жену быстро прибил.

Отец жуёт верхнюю губу, впалая грудь под рубахой вздымается и опадает тяжело, будто он делает усилие, прежде чем глотнуть воздуха. Он ждет моего ответа, а мне в голову ничего не идет. Мое молчание, которого отец столько лет от меня добивался, на этот раз злит его, я вижу – он еле сдерживается, да и то потому, что не в своем доме, там его гнев уже обрушился бы на меня. С трудом размыкаю губы.

– Отец, ничего не знаю, клянусь... Джамалутдин со мной дела не обсуждает. Если придешь в другой раз, когда он вер...

– В другой раз?! Ай, гадина!

Мне чудом удается увернуться от кулака, который просвистел в нескольких сантиметрах от моего лица. Миг – и я уже на другом конце просторной залы, тело привычно сгруппировалось, ноги готовы бежать, если отец погонится за мной. Но он вовремя спохватывается, вспомнив, что я не в его власти.

Отец бросает на меня взгляд, полный ненависти, и глухо говорит:

– Не бойтесь вы гнева Аллаха, нечестивцы, за деяния ваши гореть вам в аду. Ты мне больше не дочь, пусть никогда твоя нога не переступит порог моего дома!

Дверь захлопывается, наступает тишина. Я смотрю в окно – отец, прихрамывая, быстро идет к воротам, размахивая руками и качая головой, будто говорит сам с собой. Я понимаю, что больше его не увижу. Странно, но эта мысль не вызывает во мне ни сожаления, ни радости. Я пытаюсь убрать со стола, но не могу. Руки так дрожат, что я того гляди перебью всю посуду. Мне пора к сыну, он наверняка проснулся и плачет. Кроме меня, к нему некому подойти, взять на руки

и утешить. Да я и не доверила бы малыша ни Расиме-апа, ни Агабаджи.

Составляю грязную посуду на поднос и уношу на кухню. О том, что услышала от отца, не хочу думать. Может, и подумаю, но не сейчас. Расима-апа караулит меня на кухне, на ее лице злорадство, наверняка все слышала и расскажет Джамалутдину. Я поворачиваюсь к ней спиной и начинаю мыть тарелки. Приличия не позволяют ей спросить, почему мой отец так кричал. Да и зачем спрашивать, если она подслушивала под дверью? В этом доме ни у кого не может быть секретов, особенно у меня.

Джаббарик плачет в колыбельке. Его плач похож на писк новорожденного котенка. Он намочил пеленки, а еще голодный, ведь я кормила его больше трех часов назад. Обнимаю теплое тельце, целую влажные волосики. Как же я его люблю! Он вырастет и станет похож на своего отца. Он уже на него похож, только пока еще слишком мал, чтобы кто-то, кроме меня, мог разглядеть в сморщенном личике будущую красоту Джамалутдина.

Я прикладываю сына к груди, и в этот момент мне все равно, за сколько купил меня муж и почему так поступил с отцом. Мой мир – это Джаббар. Не представляю, как буду делить любовь к нему с другими детьми, которые родятся вслед за ним. Так странно ощущать себя матерью. Когда моей маме было столько, сколько мне сейчас, Диляра уже пыталась ходить.

Диляра... Ее малышу уже исполнилось бы несколько месяцев, позволь ему Аллах появиться на свет. На головку Джаббара капаят мои слезы. Надо перестать думать о маме и сестре. Они на кладбище, я никогда их больше не увижу. Если буду расстраиваться, молоко пропадет, его и так не очень много. Я кормлю Джаббара и мечтаю о том, как вернется Джамалутдин и мы снова будем делить постель. От этих мыслей по телу бежит тепло, которое, должно быть, передается малышу. Он жадно сосет грудь, а наевшись, отваливается, довольный, и засыпает.

Я еще не знаю, что мои беды пока и не начинались вовсе.

Генже плачет. Она плачет уже полчаса, вытирая лицо краем платка, а я сижу рядом и молча обнимаю ее, потому что ее горю нельзя помочь.

Генже пришла через два дня после моего отца. Я думала, чтобы поздравить меня с рождением первенца. Оказалось – чтобы рассказать о плохих новостях, которых сразу две.

Первая новость про нашу подругу Мину, вышедшую замуж в декабре. Мы обе были на свадьбе, но она была совсем не похожа на праздник. Мужем Миной, по воле Аллаха и с благословения ее родителей, стал старый вдовец Эмран-ата. Гости пели и плясали, не только по традиции, но и чтобы согреться, а нам с Генже было совсем невесело. Мы смотрели на Мину, которая плакала под накидкой, и беспомощно переглядывались. Вокруг столов, расставленных под навесом, бегали внуки Эмрана-ата, за которыми Мине отныне предстояло смотреть. Она ведь входила в семью младшей, в подчинение к двум невесткам мужа, которые, видать, дожидаться не могли помощницы – такие радостные у них были лица. Я не смогла на это смотреть и ушла задолго до окончания праздника, сказав Мине, что Джамалутдин велел не задерживаться.

И вот спустя почти полгода Мина сбежала. Ее ищут уже четыре дня, и муж поклялся убить бедняжку, если найдет живой. Когда Генже видела Мину на роднике накануне, та выглядела как обычно, не плакала и не жаловалась, хотя на самом деле ее жизнь с момента никаха наверняка превратилась в ад.

Эмран-ата приходил домой к Генже, и отец целый день пытал ту расспросами, где прячется Мина. Генже плакала и клялась, что ничего не знает, и тогда ее оставили в покое. Генже уверена, что нашей подруги уже нет в живых. Не может девушка совсем одна, без документов и денег, ходить по стране, где боевики взрывают машины и дома и где женщина без мужского сопровождения рассматривается как легкая добыча. Я-то с Генже согласна, но вслух заявила, что та ошибается, наверняка Мина добралась до своих дальних родственников и сейчас в безопасности.

Мы недолго обсуждали бегство Мины, потому что у Генже была еще новость. Когда я эту новость услышала, не смогла поверить своим ушам. Попросила подругу повторить еще раз.

– Мать Фаттаха приходила две недели назад. – Генже говорит монотонно, раскачиваясь из стороны в сторону, лицо отрешенное, только слезы бегут не переставая. – Я сразу поняла зачем, сердце так и екнуло, вздохнуть не могла от счастья, веришь, да?! Спряталась в чулане, так стыдно стало, думала: с этой минуты я засватанная. Да только рано радовалась. Едва Фируза-апа ушла, отец меня позвал. Он, веришь, ничего матери Фаттаха не ответил – ни да, ни нет, мол, думать будет. А сам уже тогда все решил! Обозвал меня потаскухой, кричал, что все глаза небось проглядела на Фаттаха да зубы ему скалила. Мать вступилась, сказала: не такая наша Генже, скромная она.

Генже причитает громко, как над покойником, и я опасливо кошусь на дверь: как бы Расима-апа не услышала и не пришла сделать замечание.

– И мать тоже знала, в сговоре они были.

Она опять затихает, вздыхает и смотрит на меня удивленно, будто только сейчас заметила. Потом продолжает:

– Нурулла еще в марте родителям письмо прислал. Мне Гульзар сказала, она письмо видела, и там было написано, что брат возвращается, и чтобы нашли ему невесту, а та жена в Москве – она ему ненастоящая жена.

– Ай, как же она будет теперь, с ребенком-то? – Я качаю головой, в эту минуту горе Генже отступает на второй план, ведь там, в далекой Москве, осталась женщина, которая считала Нуруллу своим мужем, а тот ушел вот так просто, даже без развода.

– Ай, да так и будет, как все шлюхи русские живут! – передразнивает меня Генже. – Там это обычное дело: без мужа детей рожать, как в них только камни на улице не кидают, в безбожниц. Но лучше бы Нурулла с ней остался, с проституткой этой, тогда бы я уже к свадьбе с Фаттахом готовилась! – Она снова заливается слезами, и я протягиваю ей стакан с водой, которую Генже пьет жадно, зубы стучат по стеклу.

– Успокойся. Все мы в милости Аллаха. – Мой голос намеренно тверд, хотя внутри я дрожу от страха за подругу – как бы чего не

сделала, на Мину гляючи. – Скажи, что дальше-то? При чем тут твой брат, не пойму?

– Так ты слушай! В прошлый четверг Нурулла приехал. Мать чуть с ума от радости не сошла, плакала и ноги ему обнимала, пока отец ее не оттащил, чтобы не позорила семью перед соседями. С подарками приехал, только без денег. Сказал, все оставил той, московской. Невесту ему сосватали из соседнего села, хорошая девушка, Заирой звать. Ближе-то никого не удалось найти. Какая уже засватана, какая по возрасту не подходит. Да и семья наша не уважаемая, не всякий готов отдать свою дочь за парня, который в России распутную жизнь вел, слухи-то – они ведь по району давно разнеслись! Вот отец Заиры и потребовал выкуп – нам за сто лет этих денег не собрать. А Нурулла уперся. Хочу, говорит, жениться быстрее, иначе, мол, в Москву вернусь и новую жену там найду. Тогда отец пошел к отцу Заиры и предложил это...

Генже начинает поскуливать, и я боюсь, что у нее начнется истерика. Она уже час как пришла, скоро Джаббар проснется и потребует свой обед, а мне еще в комнатах полы мыть и белье стирать, Агабаджи-то у нас снова беременная. Если Расима-апа ворвется с криками, лучше Генже точно не станет. Я подбадриваю ее пожатием руки, улыбкой и взглядом, и наконец-то она рассказывает все остальное.

– У Заиры старший брат есть, Иршад, ему жена нужна. Вот и решили они обмен сделать: я уйду женой к Иршаду, а Заира – женой к Нурулле. И никто выкуп не платит. Выгодное дело, так отец сказал. – Генже уже не плачет, она просто всхлипывает без слез, видно, все вытекли.

Я слыхала про этот обычай: раньше такое случалось не только в сельских семьях, но и в городских. Семьи рождались сразу по сыну и дочери, и без всякого выкупа. Свадьбу тоже делали общую, чтобы не тратить лишнее на угощения. Но того, что это может случиться в нашем селе да с моей подругой, я никак не ожидала. Остается только удивиться и жалеть Генже.

– И что, дело совсем решенное?

Подруга прижимает руки к распухшему от слез лицу.

– Никах через две недели.

– Вай! Совсем как со мной было...

– Меня, должно быть, больше из дома не выпустят. – Голос Генже звучит глухо из-под прижатых ладоней. – Мать еле-еле к тебе отпустила, умоляла ее чуть не на коленях. За водой теперь младшие сестры ходят. Отец велел делом заниматься, я шью с утра до вечера, все пальцы иголкой исколола, глаза от слез ничего не видят... Иршад украшения прислал, столько золота мне вовек не сносить! Его мать свадебный наряд дарит, а мы для Заиры все покупаем. Фаттаху отец отказал, когда договорился с семьей Иршада. Я, как узнала, сразу на родник пошла, но Фаттах там не было. И другой раз не было, а потом отец запретил из дому даже шаг сделать. Видимо, боится, что я убегу, как Мина. А куда бежать-то? Ведь совсем некуда!

Я обнимаю Генже, она прижимается ко мне и всхлипывает. Вспоминаю, как сама узнала от отца о скором замужестве, и как мне тогда было страшно. Только Генже хуже моего: она-то надеялась стать женой Фаттахы, да к тому же ей теперь придется уехать в другое село. Словно читая мои мысли, Генже стонет:

– Не хочу за Иршада, не хочу уезжать! Я Фаттаху люблю, уже и Фируза-апа приходила меня сватать, почему не могу быть с ним, Салихат, скажи, почему?

– Ты знаешь наши нравы, Генже. Девушка не может любить до свадьбы. Она мужа своего должна любить после никаха. А раньше – никак. Если кто услышит твои слова, плохо будет.

– И пусть, пусть мне будет плохо. Может, тогда этот Иршад от меня откажется. И откуда только шайтан его принес!

– Да ты видела его? Может, он красивый, как мой Джамалутдин. Может, полюбишь его?

– Нет, не видела и не полюблю, – упрямо отвечает Генже. – Даже пусть писанный красавец, только я всегда о Фаттаху мечтать буду.

– Так свадьба будет здесь или в доме Иршада? – Я увожу Генже от нечестивых мыслей, которые ей только во вред, незачем выставлять себя перед семьей жениха такой развратной.

– Ай, не знаю. – Подруга мрачнеет. – Ничего отец не говорит. Он вообще перестал со мной разговаривать и матери запретил. Но обе свадьбы в один день, это точно. Наш-то домик совсем маленький, где столько гостей вместить? У родителей Иршада, я слыхала, дом куда больше.

– Значит, там будет свадьба. – Я вздыхаю.

Если бы в нашем селе, Джамалутдин отпустил бы меня. А до соседнего пешком больше часа пути. Муж не позволит отлучиться из дому надолго, да я и сама не смогу оставить сынишку. Мы с Генже смотрим друг на друга и обе понимаем: меня на ее свадьбе не будет. Так же, как и Мины.

Генже снова готова заплакать, но в этот момент появляется Расима-апа. Странно, что она смогла продержаться так долго. Размахивая руками, тетка Джамалутдина кричит, что Джаббар уже надорвался в своей люльке, а я тут сижу и прохлаждаюсь, что никто мою работу делать не собирается, и как все это понравится моему мужу. На Генже она даже не смотрит, будто той совсем нет. Генже сразу собирается, испуганно глядя то на меня, то на покрасневшую от гнева Расиму-апа. Я провожаю подругу до входной двери, и мы крепко обнимаемся, как когда-то с Дилярой, на прощание. Свидимся ли снова? Не хочу загадывать. Жизнь – она такая непредсказуемая.

На этот раз мужчины не задерживаются надолго – возвращаются на следующий вечер после прихода Генже. Я укачивала Джаббара и не видела, как Джамалутдин и его сыновья шли через двор и заходили в дом, – слышала их голоса, когда они уже были в передней. Джаббар только-только уснул, и я побоялась сразу класть его в колыбельку, решила еще поносить на руках. Открылась дверь, и в темную от вечерних сумерек спальню вошел Джамалутдин – в дорожной одежде, обросший щетиной и с осунувшимся от усталости лицом.

Я радостно улыбаюсь ему и показываю глазами на малыша. Он кивает и терпеливо ждет, прикрыв дверь в коридор, чтобы оттуда не доносились никакие звуки. Не утерпев, кладу сына в колыбельку и неловко обнимаю мужа. Я так и не привыкла без смущения проявлять к нему нежность, даже наедине. Джамалутдин зарывается губами в мои волосы (платок я снимаю, когда кормлю или качаю ребенка). От него пахнет привычными запахами: дымом костра, бензином и дальней дорогой. Я слегка отстраняюсь, чтобы шепотом выразить свою радость по случаю его благополучного возвращения, но Джаббар начинает хныкать, и Джамалутдин выходит из спальни.

Расстроенная, снова начинаю укачивать Джаббарика. У него после обеда болел животик, поэтому сейчас он хмурится и хнычет, никак не желая меня отпускать. Мне хочется к мужу, но я терпеливо качаю

колыбель, пока малыш наконец не засыпает крепким сном. Тогда я на цыпочках выхожу в коридор, оставив включенной лампу с накинутым на абажур платком.

Не дойдя нескольких шагов до комнаты Джамалутдина, сталкиваюсь с Расимой-апа. По тому, как она на меня посмотрела, понятно, к кому она приходила и зачем. Помедлив минуту, поворачиваю ручку двери и вхожу.

Джамалутдин стоит у окна, заложив руки за спину, и глядит на темное, усыпанное звездами небо. Он успел переодеться в домашнее. На низком столике, за которым Джамалутдин обычно пьет чай, сидя прямо на полу, стоит поднос с ужином. Муж поворачивается на звук отворившейся двери и молча смотрит на меня, потом вздыхает и жестом велит подойти ближе.

Я подхожу, опустив голову и затаив дыхание, чувствуя, что Джамалутдин разгневан. Он прячет свой гнев под маской спокойствия, но мне от этого только хуже становится. Уж лучше бы кричал и грозил всеми карами небесными, хотя я толком не понимаю, в чем провинилась.

– Садись, – отрывисто говорит он, и я послушно опускаюсь на одну из жестких циновок, которые во множестве разбросаны вокруг столика.

Джамалутдин садится рядом, разламывает теплую лепешку на две части и жадно вгрызается в белую мякоть зубами. Он утоляет голод так же неистово, как берет меня по ночам, думаю я и при этой мысли краснею, еще ниже опустив голову. Съев лепешку и выпив стакан чая, Джамалутдин говорит:

– Твой отец на днях приходил?

– Да, – тихо отвечаю я, начиная понимать, в чем причина его недовольства.

– Расима-апа говорит, он кричал. Это правда?

Муж внимательно смотрит, и я вдруг понимаю: он гневается не на меня. На моего отца.

– Кричал, но это...

– Подожди! – Джамалутдин слегка повышает голос. – Сейчас я спрашиваю. А ты отвечаешь, оставив свои мысли при себе.

Я киваю и жду, пока он еще утолит свой голод, теперь уже овечьим сыром.

– Зачем приходил Абдулжамал-ата? Проведать тебя и внука? Или поговорить о чем?

– Поговорить. Правда, он еще просил показать Джаббара, но тот спал, и...

– О чем он хотел поговорить?

Я была готова, и все равно вопрос застаёт меня врасплох. Отвечать нужно только правду, тем более Расима-апа наверняка тогда подслушивала и все передала Джамалутдину. Но как подобрать нужные слова, чтобы смягчить гнев мужа? Я не люблю отца, но не могу навредить ему, даже если от моего ответа мало что зависит.

Видимо, Джамалутдин все понял по моему лицу, потому что говорит:

– Я знаю все, Салихат. Тебе не придется мучиться выбором – сказать правду, показав отца таким, какой он есть, или солгать, в надежде, что удастся как-то помочь ему. Абдулжамал-ата не сделал ничего дурного. Его гнев вполне обоснован. То, что он сказал тебе, – правда. Я действительно дал за тебя выкуп и вначале собирался помогать ему с бизнесом. Но потом мои планы изменились. Ты сама видишь, как редко я бываю дома. Я еще в прошлом году объяснил это твоему отцу, но он не захотел слушать. С его бизнесом все хорошо, поэтому я не понимаю, чего он хотел от тебя. Но чтобы такое не повторилось, я завтра схожу к нему. Если Абдулжамалу-ата нужна помощь, он ее получит, клянусь.

На следующее утро Джамалутдин отправляется к моему отцу. Интересно, о чем они станут говорить? Мне нипочем не узнать, и спрашивать я не буду – не мое это дело. Я волнуюсь – в каком настроении вернется Джамалутдин? – но все равно занимаюсь обычными делами, к которым прибавилось самое важное и приятное дело – Джаббар. Даже когда сынок пачкает пеленки или не желает засыпать, я не испытываю никакого раздражения, чего не скажешь об Агабаджи: ее дочери могут часами ползать по полу в мокрых штанишках, пока Расима-апа не сделает Агабаджи замечание или я не найду минутку, чтобы переодеть и покормить девочек.

Загид на нашей половине теперь вообще не появляется, хвала Аллаху. Мне кажется, что Агабаджи несчастна с таким мужем и надеется заслужить его одобрение, если родит сына. Я уже и сама хочу, чтобы невестка Джамалутдина разрешилась мальчиком. Может, тогда

она перестанет делать такое лицо всякий раз, как видит Джаббара. Я стараюсь пореже выносить его из спальни, пока он немножко не подрастет. Когда малыш начнет ползать, трудно станет удерживать его в комнате.

Я мою посуду после завтрака, когда возвращается Джамалутдин. Он заглядывает в кухню и велит мне идти за ним. Лицо у него такое, что мои страхи возвращаются. Я вытираю руки и спешу на мужскую половину. Едва я вхожу в комнату Джамалутдина, он говорит:

– Лучше тебе узнать это от меня, Салихат.

– Ай... что? – Я прижимаю ладони ко рту, уверенная, что случилось плохое.

Джамалутдин делает мне знак сесть, и я опускаюсь на стопку циновок – я не успела их разложить, когда после ухода мужа мыла здесь пол. Ноги дрожат, в груди похолодело. Неужели отец сказал, что раз Джамалутдин обманул его, он забирает меня обратно? Но он не может, я ведь родила Джамалутдину сына...

– Твой отец берет вторую жену.

– Ай... – беспомощно повторяю я.

– Ему мало детей, которых родила Жубаржат. А раз эта жена больше не способна выполнять свой долг, Абдулжамал-ата женится снова через три недели. Абдулжамал-ата позвал меня почетным гостем. О тебе не сказал ни слова, и ты не пойдешь. Твой отец делает пристройку к дому, где будет жить новая жена. Поэтому он должен зарабатывать больше. Он просил денег на бизнес, и я обещал.

– Но как же Жубаржат?

– Она будет жить как прежде, даже лучше. У нее снова будет помощница по хозяйству.

– Аллах... за что он так с ней? – горестно восклицаю я, стараясь сдерживать слезы. – Ведь Жубаржат... она столько лет исправно рожала детей, и...

– Успокойся, Салихат. – Голос Джамалутдина непривычно мягок, он садится рядом со мной и кладет руку мне на плечо. – Твоей мачехе повезло, что она остается с детьми. Твой отец мог развестись с ней, а детей оставить себе, разве что девочек отдал бы ей, но куда бы она пошла с ними? Родители давно забыли про нее и вряд ли приняли бы обратно. Хотеть много детей – право мусульманина, способного обеспечить их всем необходимым. И если муж считает, что жена не

выполняет свой долг, он вправе взять еще одну. Абдулжамал-ата поступает разумно...

– Очень разумно, да! – восклицаю я, забыв, с кем разговариваю.

Удивленный взгляд Джамалутдина приводит меня в чувство. Он настолько изумлен, что я посмела при нем повысить голос, что даже забыл рассердиться. Я умоляю его простить меня, а после спрашиваю, можно ли уйти. Джаббар проснулся, говорю я, хотя сын тут ни при чем. Джамалутдин позволяет, и я выхожу из комнаты, сдерживаясь из последних сил.

Я не плакала, даже когда узнала о смерти Диляры. Но сейчас рыдания вырываются наружу, и я едва успеваю добежать до спальни и закрыть дверь, чтобы меня никто не услышал. К счастью, Джаббар спит крепко, иначе испугался бы, проснувшись от незнакомых звуков.

На следующий день прошу позволения навестить Жубаржат. Я ничего не говорю Джамалутдину про то, что отец запретил мне переступать порог его дома. Я не могу носить в себе эту ужасную боль, не могу провести еще одну бессонную ночь, непрерывно думая о Жубаржат. Я говорю Джамалутдину, что не задержусь больше чем на час, и что он может прийти за мной сам, если нарушу обещание.

Должно быть, вид у меня такой несчастный, что Джамалутдин соглашается. Даже говорит, что я могу немного задержаться, если Джаббар не останется голодным и мой отец не разгневается, что я отвлекаю Жубаржат от ее обязанностей. Я обещаю все это, я готова плакать от благодарности и целую Джамалутдину руку, а он говорит, что очень хочет, чтобы поскорее закончился нифас. Ждать еще десять дней, и если бы не ужасная новость о мачехе, я бы грустила вместе с Джамалутдином о том, что он не может приходить в мою спальню. Но сейчас я думаю только о Жубаржат, не могу дождаться послеобеденного времени – тогда отец, вздремнув, снова отправляется на свои поля. Я не боюсь нарушить запрет отца. Он для меня будто умер. Я столько лет пыталась простить его жестокость по отношению ко мне и Диляре, но теперь могу его только ненавидеть. Злость на отца и жалость к Жубаржат так сильны, что мое волнение, должно быть, передается Джаббару. Отказавшись кушать, он не торопится засыпать, и я злюсь на него, пока не начинаю мучиться от чувства вины. Тогда, мысленно попросив прощения у Аллаха, я терпеливо баюкаю сына, а потом кладу его в колыбельку.

Я надеваю новое платье и чистый платок. Я впервые за долгое время собираюсь выйти из дома, и нельзя, чтоб меня увидели одетой кое-как – чего доброго, соседки начнут судачить, слухи дойдут до Расимы-апа. Плохо, что, пока меня не будет, за Джаббаром будет присматривать Агабаджи, но выхода нет. Сейчас мысли о мачехе вытесняют все остальные мысли. Надеюсь, малыш проспит все время до моего возвращения, и Агабаджи не придется брать его на руки.

Я иду по улице, опустив голову, хотя так хочется посмотреть по сторонам – вдруг что изменилось? Краем глаза ловлю любопытные взгляды прохожих, меня окликают две или три знакомые женщины – хотят поболтать, но я не могу остановиться даже на минутку, так тороплюсь. Когда сзади раздается гроыхание грузовика, испуганно шарахаюсь на обочину: может, это грузовик отца? Но в кабине незнакомый парень, и я, переждав, пока осядет пыль, спешу дальше.

Вот и ворота отцова дома. На минутку останавливаюсь, чтобы унять колотящееся сердце, прежде чем войти. Мне кажется, прошла целая вечность с тех пор, как я выходила отсюда невестой, хотя на самом деле – всего-то год. Я толкаю створку ворот – она не заперта – и вхожу во двор. Сразу бросается в глаза почти законченная пристройка. Вокруг мусор, к забору прислонены лопаты и инструменты. Осталось только покрыть крышу и вставить стекла. Пахнет свежеструганным деревом и каким-то строительным варевом. Теперь мне понятно, почему отцу надо расширять бизнес. Много денег ушло на стройку, и еще больше – на выкуп за невесту.

Мне не по себе – вдруг отец дома? В голом, выжженном солнцем дворе я как на ладони, но мне придется пересечь его, прежде чем войти в дом. Видимо, отец и в самом деле уехал, иначе уже вышел бы навстречу, заготовив что-нибудь потяжелее.

Тишина такая, будто и не живут тут семеро детей. Я сразу иду в кухню: где еще быть Жубаржат, как не на кухне? Я готова к встрече с ней, но вздрагиваю, увидев, во что превратилась мачеха.

Это тень, а не человек. Женщина, воспитывающая без помощи столько детей, не должна весить сорок килограмм, но Жубаржат, по всему, весит еще меньше. На ее лице заметны только запавшие глаза, все остальное словно провалилось внутрь. Кожа странного зеленоватого цвета и в нескольких местах в застарелых кровоподтеках. Старенькое залатанное платье висит на Жубаржат так, словно она

сняла его с Расимы-апа или еще кого толще: в него поместились бы три таких Жубаржат. Я сразу понимаю, что мачеха очень больна.

Должно быть, на моем лице такой ужас, что Жубаржат не решается сделать шаг навстречу, сказать хоть слово. Вдруг меня будто кто в спину ударяет, и я, сделав несколько спотыкающихся шагов, почти падаю на руки мачехе, захлебываясь рыданиями. Жубаржат обхватывает меня, гладит по спине и что-то успокаивающе шепчет. Сама она спокойна и ей удается усадить меня и дать стакан воды.

– Я знала, что придешь, Салихат. Вчера Джамалутдин тут был. Я поняла: он тебе расскажет. Только боялась, вдруг ты придешь раньше, чем Абдулжамал из дому выйдет.

– Ай, Жубаржат... Отец, как он мог?..

– Зачем плачешь, глупая? Когда узнала, что Абдулжамал вторую жену берет, такой праздник настал в моей душе – жаль, поделиться было не с кем.

Я в изумлении гляжу на мачеху. Может, от горя она повредила рассудком?..

– Да в уме я, в уме, – смеется Жубаржат. – Грех это, но я так молила Аллаха, чтобы избавил меня от мучений быть Абдулжамаловой женой! И вот мои мольбы услышаны, Салихат!

Видя, что я ничего не понимаю, мачеха принимается рассказывать.

– Как ты замуж вышла, совсем житья мне не стало. Абдулжамал так меня в день твоей свадьбы избил, видать, отбил что-то внутри. Хворала я долго, думала – кровь вся вытечет, когда ходила, за стены держалась: такая слабость – и болело ужасно. Пришлось Алибулатика овечьим молоком откармливать. У меня-то молоко почти сразу кончилось. Но ничего, через пару месяцев оклемалась, снова занялась хозяйством – а до этого соседки по очереди приходили помогать, тайком от Абдулжамала. Он думал, что я и с детьми, и с делами справляюсь, а я даже ведро воды с родника не могла принести. Одно было плохо: как нифас закончился, Абдулжамал стал ко мне в спальню ходить почти каждую ночь. Раньше-то терпимо было, я лежала да ждала, когда он закончит и уйдет. А теперь так больно, хоть криком кричи! Будто резали меня внутри ножом, кромсали на кусочки. Ну, первую неделю я терпела, губы в кровь кусала, чтобы не кричать, а потом не вытерпела – призналась. Ох, и разозлился Абдулжамал!

Думала, снова начнет ногами по животу бить. Но он... – Жубаржат замолкает на мгновение, зажмурившись со стыда, бледные щеки окрашиваются подобием румянца – хуже сделал. Насиловал всю ночь. И всю следующую ночь тоже. Лучше бы избил! Под утро сознание теряла. Потом уж не так больно стало, наверно, притерпелась. Уй, как боялась снова беременной сделаться! Когда-то много детей хотела, а после Алибулатика стала бояться, что умру в родах. Наверное, поэтому беременность не наступала. Почти полгода я радовалась, а потом все же понесла. В ноябре было, а как узнала про Диляру, все из меня и вышло. Только нифас кончился, Абдулжамал снова за свое. И опять я понесла, в феврале уже. А в марте скинула. Все бы ничего, только запах ужасный стал от меня. Чуешь? – Жубаржат придвинулась поближе. – А вот сейчас? Ага, говорю же, пахнет. Абдулжамал злился страшно, мыться каждый вечер заставлял, да все без толку. Будто что портится внутри меня. Тогда он совсем перестал ходить. Я своему счастью поверить не могла. Только все думала, как же он теперь без этого дела будет? Да и детей больше рожать не смогу. Про вторую-то жену не догадывалась. А как он сказал, то-то праздник настал в моей душе! Правда, первые дни в страхе жила: ну как выкинет на улицу, а деток себе оставит? Но Абдулжамал успокоил: тут жить останусь, и дети при мне. А молодая его жена будет за ними смотреть, пока своих не родит. Я так осмелела, что спросила – кто она? Оказалось, Джанисат Асламова. Джанисат у них единственная дочка, красивая девушка и молодая совсем. Я подивилась, как это Варис Асламов согласился отдать Джанисат за старика, а потом вспомнила, что они друзья с Абдулжамалом, да и выкуп хороший, за тебя Джамалутдин почти столько же дал. Ай, никах скоро! Успеть надо много: пристройку закончить, купить многое для невесты, еды наготовить. Мне соседки ходят помогать, а скоро сестры Абдулжамала приедут, им в пристройке комнаты подготовлены, только двери поставить осталось...

Я прячу лицо в ладони и сижу, раскачиваясь, не веря, что все это сейчас услышала.

– Теперь мне жизнь хорошая настанет, – радуется Жубаржат. – Ты прости, что к тебе не шла. Все хотела навестить, да боялась: увидишь ты меня и расстроишься.

– Но... ты ведь не больна, Жубаржат? Скажи, что все хорошо с тобой!

– Все хорошо, – твердо и одновременно мягко говорит Жубаржат. Я вижу – она лжет, но боюсь просить сказать правду. Уж лучше буду делать вид, что поверила. Аллах милостив.

– А какая ты будешь с Джанисат? – спрашиваю я. – Строгая будешь? Станешь ругать и жаловаться на нее Абдулжамалу?

– Ай, Салихат, что за глупости говоришь.

– Все старшие жены так делают.

– Да много ты знаешь их, старших жен, – смеется мачеха.

– У Алауддина Рахимова вторая жена, – загибаю я пальцы, – еще у Убайдуллы Хашимова...

– И что? Их младшие жены жаловались, что старшие житья им не дают?

– Кюбре на роднике жаловалась, что Алауддин позволяет своей первой жене так ею помыкать, что любая свекровь позавидует.

– Им поменьше надо болтать, девчонкам этим, – ворчит Жубаржат, ставя на стол мешок с мукой и миску с водой для теста. – Пусть радуются, что мужья их старыми девами не оставили да привели в дом не к матерям, а к старшим женам, эти хоть не такие ревнивые.

– Разве матери ревнуют сыновей к их женам?

– Уж ты мне поверь, – кивает Жубаржат, тонким слоем рассыпая муку по столу. – Вот погоди, надумает твой сын жениться... Ох, какая я! – внезапно она хлопает себя белыми от муки ладонями по щекам, оставляя на них пыль. – Совсем забыла! Погоди.

Жубаржат выбегает и вскоре возвращается, держа что-то в руках. Она протягивает мне крошечный костюмчик: штанишки и кофточку, расшитые забавными желтыми цыплятами.

– Это Джаббару. Сама шила. Ты не думай, это новое, никто из моих не носил!

– Спасибо. – Я растроганно прижимаю одежду к себе.

– Как ребеночек-то?

– Ест да спит.

– Год после никаха – и уже мальчик! Совсем как у меня было. Но ты не останавливайся. Тебе надо родить мужу много сыновей.

– А где дети? Надеюсь, все здоровые? – Я только сейчас спохватываюсь, что до сих пор не спросила про своих братьев и сестер, которых не видно и не слышно.

– Слава Аллаху! Азим и Гусейн с отцом в поле. Младшие спят. Адиля помогать мне пытается, Алибулатик недавно пошел, теперь за ним пригляд нужен, вот дочка и смотрит, она такая ответственная.

– Можно на маленьких посмотрю?

– Только не разбуди, мне столько надо успеть, пока они спят!

Я на цыпочках подкрадываюсь к комнате, где устроена общая спальня для детей. Три мальчика и две девочки спят на разбросанных по полу старых одеялах. Как я по ним соскучилась! И как они выросли! Особенно Алибулат, его я только и видела в люльке новорожденным. Жаль, не могу обнять их. Может, как-нибудь в другой раз.

Возвращаюсь на кухню и предлагаю Жубаржат свою помощь, но она качает головой.

– Нельзя тебе тут больше, Салихат. Не подумай, я тебе рада, но вдруг Абдулжамал до времени вернется, худо станет нам обеим.

Она права. Да и отпущенное мне время вышло, надо держать обещание, данное Джамалутдину. Жубаржат провожает меня до ворот. Я вижу, ей не хочется, чтобы я уходила, и беру с нее слово, что она навестит меня в ближайшие дни. Жубаржат обещает, но мы обе знаем, что вряд ли она сможет прийти.

Только вернувшись домой, я понимаю, что мы ни словечком не обмолвились о нашей общей боли – погибшей Диляре.

Наш второй сын появился на свет в середине священного месяца Рамадан, поэтому его имя predetermined сам Аллах. В этот раз роды прошли легко, и маленький Рамаданчик не доставил мне страданий, которых я натерпелась, когда рожала Джаббара. По случаю очередного мальчика я получила подарок от мужа: золотые серьги, кольцо и браслет.

За время, что я провожу вдали от чужих глаз, оправляясь от родов, вспоминаю все произошедшее за год, ведь чем еще мне заниматься, кроме как баюкать малыша да вспоминать?

Много событий случилось с того дня, как я ходила навестить Жубаржат.

Генже вышла замуж в соседнее село, свадебный кортеж ехал мимо наших ворот и увозил ее. Я помахала вслед рукой, но она под своей накидкой меня не увидела. Вроде как недавно у нее родилась дочка, а больше я о Генже ничего не слыхала.

Мину так и не нашли, посчитали ее мертвой. Соседки сплетничали, что для нее так лучше. Все равно муж убил бы, если бы нашел. Но я надеюсь, подруга где-то прячется, а может, смогла добраться до России, ведь мир не без добрых людей.

Мой отец снова женился. Конечно, новая жена – неофициальная, ведь с Жубаржат он не развелся. Был только никах, и по документам Джанисат его женой не записана. Джамалутдин ходил на торжества три дня подряд и сказал, что Абдулжамал очень этим был доволен, а еще больше – деньгами на бизнес, которые получил в качестве подарка. Я хотела знать подробности, но Джамалутдин сказал только, что гостей было много, и платок вынесли в положенное время, так что свадьба прошла как надо.

Год назад Агабаджи разрешилась новой девочкой и чуть не умерла от побоев Загида. Еле-еле его от нее оттащили, она уж не дышала, а потом месяц ходила с синяками и прятала лицо, чтобы никто не видал их. Загида Джамалутдин услал куда-то надолго. А когда тот вернулся, нам совсем житья не стало: то одно ему принеси, то другое, это он есть не будет... И почему дети так громко плачут? Если

мы их не уйдем, он сам ими займется. Мне так жалко стало Агабаджи, что я решила: забуду про ее ненависть к Диляре, это дело прошлое, сделаюсь ей подругой, раз больше никто ее не жалеет. Я думала, что она, по обыкновению, посмотрит презрительно и отвернется, но все стало совсем по-другому. Агабаджи позвала меня в свою комнату, предложила сесть и стала говорить. Говорила, пока все, что наболело внутри, не выговорила, а потом прощения попросила за то, что так долго была неприветливая. Так что мы наладили нормальные отношения. Правда, дочек Агабаджи по-прежнему почти не замечает, куда охотнее возится с Джаббаром, чем со своими близняшками и младшей.

Айше и Ашраф скоро два годика, они бегают по двору и лопочут. Девочки мало между собой похожи. Младшей, Асият, недавно исполнился год. Старшие присматривают за ней и берут в свои игры, хотя малышка только-только ходить выучилась.

Джаббар, мой любимый сынок, с девочками водиться не хочет, замахивается на них крошечным кулачком, если те пытаются взять его игрушку, хмурит брови и сидит один под деревом, забавляя себя всякими нехитрыми способами. Он не по возрасту серьезен и с каждым месяцем становится все красивее, мне на радость и Джамалутдину на гордость. Хвала Аллаху, с самого рождения Джаббар ни разу не болел, даже зимой, когда все подхватили простуду, Джаббару одному удалось уберечься от хвори.

Джамалутдин часто отлучается по делам. Правда, бывают месяцы, когда он никуда не уезжает, и сам принимает гостей, иной раз они и на ночь остаются, и тогда нам прибавляется лишней работы. Я настолько к этому привыкла, что научилась заранее чувствовать день, когда Джамалутдин вернется. Ему я об этом не говорю, но к такому дню стараюсь одеться нарядней и приготовить одно из любимых блюд мужа. Мои предчувствия всегда сбываются, и так радостно видеть удивление Джамалутдина, когда я приношу ему, уставшему с дороги, любимые кушанья.

В это трудно поверить, но за время, что мы женаты, муж ни разу не разгневался на меня по-настоящему. Бывало, что я чувствовала вину за небольшие проступки и сразу сама просила прощения. Джамалутдин сдержан со мной и не показывает нежных чувств, хотя они, я теперь уверена, у него есть. Мужчине не пристало выражать

привязанность к женщине, иначе его будут считать слабым. Я чувствую любовь Джамалутдина, когда смотрю в его глаза, когда он обнимает меня в постели, оставаясь в спальне до предрассветного намаза. Я перестала бояться, что муж может сделать со мной плохое, и покойная Зехра больше не стоит между нами, как вначале. С рождением второго сына мое положение только укрепилось. Даже Расима-апа уже не приказывает, а просит помочь. Теперь свою злобу она вымещает на Агабаджи, ведь Загид относится к жене с нескрываемым презрением, а Джамалутдин не вмешивается в домашний уклад, оставляя его целиком за Расимой-апа.

Только однажды между мной и Джамалутдином вышло что-то вроде ссоры. Случилось это несколько месяцев назад, сразу после пятнадцатилетия Мустафы. Младший сын Джамалутдина в тот день попросил у него позволения учиться в религиозной школе района. Тогда я впервые за много месяцев услышала, как муж повысил голос на кого-то из домашних. Он кричал на бедного Мустафу, угрожая страшными вещами, вплоть до немедленной женитьбы на соседской Ширванат-дурочке, если тот еще раз заговорит о чем-то подобном. Кончилось тем, что Джамалутдин отослал сына прочь, велел несколько дней не попадаться ему на глаза, и ушел к себе, хлопнув дверью так, что зазвенела посуда. Расима-апа в испуге раскрыла Коран и стала дрожащим голосом читать вслух, надеясь таким образом успокоить гнев племянника.

Я подумала-подумала, к кому сначала идти, и отправилась к Мустафе, потому что Джамалутдина беспокоить было нельзя. Но поговорить не получилось. Я пыталась как-то утешить Мустафу, а он отворачивался, молчал и всем видом показывал, как хочет, чтобы я ушла, но не смел попросить об этом, ведь я жена его отца. Пришлось уйти ни с чем.

Мустафа из подростка превратился в красивого юношу, широкоплечего и высокого, но своей мягкостью и добротой по-прежнему напоминает ребенка. Джамалутдин и Загид теперь берут его в свои поездки. Возвращаясь, Мустафа закрывается в комнате, а когда выходит, я вижу страдание в его глазах. Не знаю, что именно ему приходится делать в тех поездках, но что бы это ни было, оно не доставляет Мустафе радости. Может, ему и правда лучше пойти по духовному пути? Почему Джамалутдин так упорствует? Почему

злится, когда Мустафа просит о таком богоугодном деле? Разве недостаточно одного сына, который ему вместо правой руки?

Я набралась смелости спросить мужа об этом, но ничего хорошего не вышло. Джамалутдин со сдержанной яростью велел мне заниматься ребенком и домашним хозяйством, а в мужские дела не вмешиваться, иначе пожалею о своей дерзости. Он не бил меня и даже не кричал, ведь я ждала Рамаданчика, но мне стало страшно потерять его хорошее отношение ко мне. Поэтому я поспешила уйти, а вечером с замиранием сердца ждала мужа в спальне. Но он не пришел, а на другой день уехал еще до завтрака.

Джамалутдин тогда отсутствовал неделю, и эти дни я места себе не находила, все валилось из рук, не хотелось ни есть, ни спать. Джаббар постоянно капризничал, живот тянуло болью, и я боялась начать рожать прежде времени. Муж еще не успел вернуться, а я дала себе слово, что для спокойствия нашей семьи больше не заговорю с ним о том, что меня не касается. Джамалутдин – мужчина, он главный в доме и знает, что для кого лучше, особенно для его детей. Когда наконец я смогла обнять его после долгой дороги, он все понял по моему лицу и улыбнулся мне. Никакое другое наказание я не усвоила бы лучше, чем то, которое Джамалутдин выбрал тогда для меня.

Через три месяца родился Рамаданчик, и все стало хорошо.

Теперь я наслаждаюсь ролью матери двух сыновей. По случаю недавних родов мне не надо по ночам готовить и подавать еду домашним, это делают Расима-апа и Агабаджи, которой пока не удалось забеременеть снова, хотя с рождения Асият прошел целый год. Пост в самом разгаре, и к Джамалутдину несколько раз приезжали родственники из дальних сел. Сейчас, в начале октября, уже нет такой изнуряющей жары, как летом, хотя дни стоят очень теплые, и дождей совсем нет.

В светлое время суток жизнь в доме, как и во всем селе, замирает. Расима-апа, Агабаджи с дочками, Джамалутдин и Загид спят после обязательного ежедневного чтения Корана вслух; Мустафа все свободное время проводит в мечети.

Одевшись и напихав побольше чистых хлопковых тряпок в шаровары, я выхожу в сад, прихватив полусонного Джаббара, хотя мне рано пока покидать комнату. Но лежать и слушать тишину невыносимо, да и чувствую я себя хорошо, нигде не болит.

Джаббар сразу засыпает под раскидистым абрикосом на расстеленном покрывале. Я возвращаюсь в дом за младшим, который продолжает крепко спать, пока я удобнее устраиваюсь с ним на руках. Прислонившись спиной к теплому стволу, я закрываю глаза и наслаждаюсь запахами сада и нагретой земли, нежаркими лучами солнца, которые проникают сквозь ветки и падают на мое лицо, тяжестью младенца и глубокой уверенностью в том, что этот малыш – далеко не последний наш с Джамалутдином ребенок. Я вспоминаю день, когда мы так же сидели под деревом с Мустафой, и он рассказывал о последнем дне своей матери, а я жутко боялась, что Джамалутдин может поступить со мной так же, как с ней, если захочет. Сейчас мне смешно вспоминать об этом, будто целая жизнь прошла между тем днем и сегодняшним.

Теперь хорошо бы девочку. Я вожусь с малышками Агабаджи не только потому, что они внучки Джамалутдина и мои родственницы, но и потому, что люблю их, будто своих. Я представляю, как буду наряжать дочку, какая она будет красавица, как станут защищать ее братья, какого хорошего мужа найдет ей Джамалутдин... и едва не пропускаю Жубаржат, которая входит в ворота и направляется к дому.

Первую минуту не верю своим глазам. Вторую – не могу ни встать, ни окликнуть ее, ведь тогда Рамадан проснется. Меня она никак не может увидеть, я сижу в дальнем конце сада под деревом, его ветки почти касаются земли, образуя нечто вроде шалаша. Но на все воля Аллаха: когда Жубаржат в нерешительности замедляет шаг, приблизившись к дому, мне удастся положить малыша на покрывало рядом с Джаббаром и, высунувшись из-за веток, окликнуть мачеху.

Жубаржат изумленно глядит на меня, а потом проворно ныряет в мое укрытие. Мы обнимаемся, она переводит взгляд на малышкой и благоговейно шепчет:

– Ай... неужто маленький тоже твой? Это что, совсем недавно роды были?

– Рамаданчику всего два дня.

– Хвала Аллаху, снова мальчик, пусть полнятся его годы счастьем и достатком!

– Иншалла.

Жубаржат не терпит поцеловать моих сыночков, но надо ждать, покуда проснутся. Я счастлива, что она пришла, соскучилась – не

передать.

– Как отец отпустил тебя?

– Я не спросилась. – Жубаржат тихонько, чтоб не разбудить детей, смеется. – Он с утра в Махачкалу уехал, к вечеру только вернется. Давно собиралась к тебе, да то одно, то другое... сначала сама болела, потом Алибулатик захворал, его выхаживала – ни до чего дела не было. А теперь вот собралась наконец, да не зря: вместо одного ребенка – сразу двое!

– В дом пойдём? Чаю подать?

– Что ты! – Жубаржат машет рукой. – Ведь я пост соблюдаю, у Абдулжамала с этим строго. Здесь хорошо, не жарко, да и из окон нас не видать. Как живешь? Как муж, ладится у вас?

– Слава Аллаху. Ай, Жубаржат, ты ведь правду тогда говорила: мне теперь и почет, и уважение, а рожу еще сына – совсем хорошо станет, хочу, чтобы много деток было, как у тебя!

– У меня-то не будет больше. – На лицо мачехи набегает мимолетная тень, но она уже опять смеется. – Да и хватит, с этими-то едва справляюсь.

Я смотрю на Жубаржат и радуюсь вместе с ней, больше всего тому, что она уже не выглядит такой больной, как в том году. Пусть такая же худая, но в глазах уже совсем другое выражение, щеки покруглели, и плохого запаха больше нет. Странно видеть ее не беременной. Видать, сглазили плодовитость Жубаржат плохие люди, не убереглась она от зависти, ай, не убереглась. Тут я вспоминаю про главное, даже по лбу себя хлопаю с досады, как сразу не вспомнила?

– Про Джанисат скажи скорей, все-все скажи! Родила уже, да?

– Куда там. – Жубаржат странно усмехается и глядит в сторону.

– Но понесла ведь?

– Вот и нет! Больше года прошло, а она такая же, как в день свадьбы, уж и так я ее рассматриваю, и эдак, а на днях специально к ней вошла, когда она платье меняла. Живот плоский, что твоя доска.

– Ай, как это? Отец выгнать ее может... не в первой ведь.

– Так-то оно так, да не эдак. Слушай, что скажу. – Губы Жубаржат совсем близко, от шепота моему уху щекотно. – Только ты никому, да? Джанисат в пристройке живет, а Абдулжамал-то в доме остался, потому и знаю, часто ли он к ней в спальню ходит. По первости чуть

не каждую ночь, так хотелось молодой жены, только недолго ходил – видать, перемоглось.

Я недоуменно смотрю на мачеху. О чем она? Совсем не понимаю.

– Да старый стал! Думаешь, мужчины до самой смерти могут это с женами делать?

– А разве... разве нет? – лепечу я, чувствуя, как пунцовеет лицо.

Джамалутдин убьет, коли узнает про эти разговоры! Но так интересно слушать Жубаржат, такие вещи она говорит и не боится...

– Ну кто, может, и нет, а только Абдулжамал к Джанисат перестал ходить. Так, изредка только. А с изредка разве понесешь? – Жубаржат качает головой в притворном сожалении. – Если он ее выгонит, она молчать не станет, все скажет отцу да братьям, а те его позор по всему району разнесут. Вот и надеется Абдулжамал, вдруг Аллах смилостивится и пошлет ребеночка.

– Жалко Джанисат... тебе жалко, да?

– Вай, глупость сказала, Салихат! Для Джанисат только в радость, что старый муж к ней редко ходит. Живет как в раю. Делами я ее не нагружаю, она только за малышами смотрит, старшие уже сами о себе заботятся. Ну, за водой на родник ходит, так это разве тягость? Она там с подружками видится, небось душу отводит разговорами, по часу иной раз воду жду. Я ей ничего не говорю, пусть тешится, мне-то что.

Рамаданчик начинает кряхтеть и дергать крохотными ручонками. Скорей беру его, чтоб не разбудил Джаббара и дал нам еще поговорить, расстегиваю платье и даю ему грудь. Малыш жадно присасывается, меня пронзает боль пополам с удовольствием. Джаббара я кормила, пока снова не понесла. Надеюсь Рамаданчика хотя бы год кормить, так мне это нравится, да и дети здоровенькими растут на материнском молоке.

Жубаржат на время умолкает, дает покормить ребенка, а я раздумываю над тем, что услышала. Вот не думала, что смогу с мачехой обсуждать такое про моего отца. Ведь это так стыдно, да и может ли быть правдой? Конечно, Жубаржат меня старше и столько лет замужняя, она может всякие вещи знать, о которых я не догадываюсь. А отец зачем брал еще жену, если такой старый? Что теперь эта Джанисат станет делать? Ведь люди будут пальцем показывать, позором наградят – не отмоется. Пусть жизнь ей в доме Абдулжамала хорошая, но если Аллах не дает женщине детей, как

жить с таким горем? И то правда, пока лишь год с никаха прошел, может, сладится все, родит Джанисат хотя бы одного ребеночка.

– Так вы подруги с ней? – спрашиваю я, укладывая сытого Рамаданчика обратно.

– Да ты что! Джанисат твердо свое место знает. Почтительная, тихая, говорит мало. Хорошая девушка, родители ее должно воспитали. Лицом уж такая красивая, и телом тоже. Видела я ее грудь – куда там мне или тебе! Жаль, что старику досталась. Ей бы молодого мужа, сразу бы родила. Ну, да не мое это дело. Я не нарадуюсь, что получила помощницу. С ней куда легче жить стало, да и муж не бьет больше, ему теперь есть кого бить, меня разве интересно лупить после стольких лет? – Жубаржат снова смеется.

– А какие еще новости? Ты же знаешь, я не хожу никуда, особенно когда беременная.

– Зарема, старшая дочка Мазифат-апа, замуж вышла в том месяце.

– Ай, наконец-то! Да ведь старая совсем, кто ж взял ее?

– Не знаю, меня на свадьбе не было, говорю же – Алибулатик хворал, я с детьми осталась. Абдулжамал в Махачкалу ездил и Джанисат с собой возил. Когда вернулся, сказал, что Ихлас-ата хорошего мужа старшей дочери нашел, какой-то он там важный человек в торговле, домами и магазинами владеет, не смотри, что старый – зато уважаемый, да. Теперь сваты за Зарифой выстроились, это хорошо, ведь у нее тоже возраст, еще год-другой, и никому не станет нужна. Думаю, что на подходе новая свадьба.

Мы обсуждаем свадьбы, наряды, волю родителей в выборе мужа, пока не приходит время расставаться. Меня вот-вот хватятся, а Джаббар начинает ворочаться и хныкать. Жубаржат оставила детей на Джанисат. И хоть отец мой вернется только вечером, ей надо возвращаться, потому что приличная женщина не может проводить вне дома много времени, даже если навещает родственников. Если какая из соседок запомнила, когда Жубаржат заходила в наш двор и когда вышла, пойдут пересуды, которые дойдут и до ушей отца. Даже если ему теперь есть кого бить вместо Жубаржат, зачем давать лишний повод? Жубаржат спешит обратно, взяв с меня слово, что в другой раз уже я к ней приду. И разве не интересно мне взглянуть на Джанисат?..

Я перебираю четки, вознося безмолвную молитву Всевышнему, что оставил в живых моего сыночка. Из моих глаз текут слезы, но это слезы облегчения. Все четыре дня, пока Джаббар находился между жизнью и смертью, я не проронила ни слезинки, была такая спокойная, что Расима-апа забеспокоилась: не повредила ли я умом от переживаний.

Джаббар гулял под дождем в тот вечер, когда погода испортилась. Был конец октября, дни стояли теплые. После дневного сна я, как обычно, отправила сынишку, одетого только в штанишки и рубашку, во двор под присмотром близняшек, а сама стала замешивать тесто для чуда. Я не видела, что пошел дождь, не слышала, как капли забарабанили по стеклу и завыл ветер. Где были мои глаза и уши?.. Только когда пришли близняшки и попросили горячий чай, потому что замерзли, я схватилась Джаббара. Оказалось, он куда-то спрятался от девочек, чтобы не мешали ему играть, а Айша и Ашраф вернулись домой, едва с неба полило. Я выскочила во двор, бегала под холодным дождем и звала Джаббара, но не могла найти, пока он сам не вышел из сарая: не хотел идти домой, потому что испугался наказания, мой глупый сынок, которому еще и полутора лет не сравнялось. Конечно, я отругала его, а потом сильно растерла, напоила горячим чаем и уложила спать, надеясь, что все обойдется.

На другой день у Джаббара поднялась температура, он буквально горел, его тошнило. Сначала он бредил, а потом совсем затих, и это было страшнее всего. От отчаяния мне хотелось кричать, но я стиснула зубы и стала обтирать сына прохладной водой. Потом мы с Расимой-апа перенесли ребенка из моей комнаты в другую, чтобы не заболел Рамаданчик, и сели на пол у дивана в ожидании врача из амбулатории соседнего села, наша-то давно закрылась. Джамалутдин уехал несколько дней назад, и я не знала, когда он вернется. Врач появился только к вечеру, его привез на своей машине муж соседки. К тому времени Джаббар уже несколько часов был без сознания, лишь ненадолго открывал глазки, но никого из нас не узнавал.

Когда врач-мужчина вошел в ворота, Расима-апа велела мне оставаться на месте, а сама перенесла Джаббара на мужскую половину. Как я ни уговаривала ее позволить пойти вместе с ней, Расима-апа осталась непреклонной. Нельзя, сказала она, чтобы чужой мужчина видел тебя в домашней обстановке, даже если ты наденешь платок. И мне пришлось подчиниться. Все то время, пока врач был у Джаббара, я места себе не находила, металась из одного угла в другой и молилась. Рамаданчик надрывался в колыбельке, но у меня не было сил, чтобы приложить его к груди. Наконец вернулась Расима-апа. Она сказала, что врач предложил забрать Джаббара в больницу, но, услышав «нет», оставил лекарства и уехал. Почему, закричала я, почему вы отказались от больницы? Ведь мой сын умрет здесь, он уже умирает! Расима-апа дала мне пощечину и сказала, что не допустит меня до ребенка, пока не приду в себя. Тогда я вытерла слезы, попросила прощения и пошла к Джаббару. Оказалось, врач сделал ему укол, и сыночек смог уснуть, даже дышал нормально. Тогда я подумала, что все, может быть, обойдется.

Несколько дней я не спала и почти не ела, давала Джаббару лекарства и питье, слушала его дыхание, обтирала прохладной водой. За Рамаданом смотрела Агабаджи, я только кормила его и сразу возвращалась к Джаббару. Первые три дня температура у него будто приклеилась к цифре «39» на градуснике, а потом стала падать.

Сегодня первый день, когда жизнь Джаббара, похоже, вне опасности. Мне наконец-то наступил покой. Больше не буду такой беспечной, не буду думать, что с детьми ничего не случится только потому, что я так хочу. Сколько бы дел у меня ни было, на первом месте все равно дети, ведь я отвечаю за них перед Аллахом и мужем. Я одна была бы виновата.

Я содрогаюсь при мысли о том, что Джаббарик в самом деле мог умереть. Вслушиваясь в его дыхание, люблюсь осунувшимся личиком сына, таким спокойным во сне. Потом иду к колыбельке Рамадана, проверяю, не испачкал ли он пеленки, накрываю одеяльцем. В комнате прохладно, на дворе настоящая осень с дождем и ветром. Надо бы поесть, но страшно оставить детей хоть на минутку одних.

Вдруг входит Агабаджи с подносом. Она ставит его на кровать. На подносе стакан чая и тарелка с курзе.

– Поешь, – говорит она. – Побуду с тобой пока.

Я с жадностью принимаюсь за свой ужин. Курзе с бараниной сочные, жирные, есть их удовольствие. Надо восстанавливать силы, Рамаданчик требует много молока. Агабаджи садится на пол подле кровати, поджав под себя ноги в растоптанных тапочках. Раньше ее присутствие было бы мне в тягость, а теперь я рада, что она тут. У меня так плохо на душе, несмотря на то что Джаббар почти поправился. Хочется поговорить хоть с кем-то, а кроме Расимы-апа и малых детей, во всем доме только Агабаджи и есть.

– Как он? – Агабаджи кивает на матрас, расстеленный на полу, на котором спит Джаббар.

– Хорошо.

– Он поправится.

– Знаю. – Я доедаю курзе и беру новый. – Спасибо, что присмотрела за Рамаданом.

– Ладно, чего там. – Она пожимает плечами. – Когда один из моих заболит, ты тоже станешь смотреть за остальными.

– Агабаджи... – Я собираюсь с силами, чтобы задать вопрос, который давно вертится у меня на языке. – Ты... ну, это... когда еще рожать будешь?

Ее лицо искажается, и я невольно отворачиваюсь под ее взглядом – в нем столько боли и злобы, что лучше бы я не спрашивала. Но когда Агабаджи начинает говорить, я понимаю: она злится вовсе не на меня, не на мое любопытство.

– Да хоть бы не было их больше, этих детей! Если опять случится девочка, конец мне. – В голосе Агабаджи отчаяние, она тербит пальцами край своей выцветшей юбки и кусает губы. – Дома-то меня отец и пальцем не трогал, веришь, да? А помнишь, что Загид сотворил со мной за Асият? В тот раз мне повезло, что жива осталась. А ну как новая девчонка? Кто за меня вступится, если Джамалутдина-ата дома не окажется? Или убьет меня Загид, или родителям вернет. Не знаю уж, что хуже...

– Уверена, будет мальчик.

– Вот как у тебя так выходит, а? – Губы Агабаджи кривятся плачем. – Один за другим два сына, наверняка и третьего родишь. Я не завидую, нет. Твои мальчики хорошие. Я их люблю, особенно Джаббара. Часто представляю, что он мой. Потом смотрю на дочек и тошно делается, так бы и убила их!

– Ай, что говоришь, побойся Аллаха!

– Скорей бы они выросли. Скорей бы Загид нашел им мужей. Пока они в одном доме со мной, не будет мне покоя. Загид ко мне почти и не приходит, говорит – зачем стану с тобой спать, девчонок одних рожаешь!

– Вот у наших соседей, Абдулазимовых, сперва появились четыре дочки, а потом три сына один за другим. Рожай себе, пока мальчик не появится. Хвала Всевышнему, в достатке живем, мужья деньги в дом носят, дети нужды не знают. Ты молодая, много лет рожать можешь.

– Хорошо тебе говорить. Рамадана родила – не крикнула. А я... как вспомню – ужас берет!

Агабаджи умолкает ненадолго, а потом, нахмурившись, вроде как через силу продолжает:

– Говоришь, мужья деньги приносят? А знаешь, откуда берут они их? Пусть бы мы в бедности жили, да. Я б тогда не боялась, что дочери сиротами могут остаться, а я – вдовой.

Мне делается страшно. Я смотрю на жену Загида, взглядом умоляя не продолжать. Не хочу слышать, что она скажет дальше. Чувствую: все изменится, едва слова выйдут из ее рта. Так бы и зажала себе уши, но не могу даже рукой пошевелить.

– Неужто не хочешь узнать, чем твой муж занимается? – Она недоверчиво щурится.

– Не надо мне знать. Прошу, Агабаджи, молчи! Джамалутдин прибьет...

– Слушай, вот что ты такая, а? – Агабаджи вдруг вскакивает и начинает метаться по комнате из угла в угол, туда-сюда мимо спящих детей. – Ничего знать не хочешь, придумала спокойную жизнь и в нее веришь. Там, за забором-то, столько плохого! Раз мы тут спрятаны, так думаешь, и нет ничего? Надоело мне, что я одна знаю и боюсь. Хочу, чтобы и ты боялась!

– Ну, сядь, – гневно говорю я. – Слышишь, да?

Агабаджи послушно садится. Вид возбужденный, лицо покраснелось. Она не успокоится, пока все не расскажет. Лучше уж сразу с этим покончить. Может, ничего страшного и нет, одни ее фантазии. Жена Загида странная, это всем известно.

– Давай говори.

Она испуганно косится на дверь. Встает, подкрадывается к ней, приотворяет и, убедившись, что за ней никого нет, возвращается на место.

– Думаешь, куда они так часто ездят? Вот в те районы, где война идет, и ездят. В леса, в горы. Помогают этим... как их... ну, которые машины взрывают, а в России – метро и остановки транспортные.

– Террористам?

Слово, мерзкое на вкус, как прогорклый кусок жира, слетает с моих губ, я в ужасе прикрываю рот рукой. Я надеюсь, что Агабаджи рассмеется над моим предположением, но она совсем не смеется. Смотрит пристально, и в глазах у нее страх.

– Откуда у Джамалутдина-ата деньги, думаешь? Он и Загид прячут этих бо... – Агабаджи спотыкается о незнакомое слово, – боевиков. И оружие им достают, помогают через границу переходить, и всякое такое... Слышала, что в Буйнакском районе творится? Туда чаще всего они и ездят, да еще Мустафу берут с собой.

– Врешь ты. Этого не может быть.

– Аллахом клянусь. Сама слышала! Летом еще. Помнишь, к Джамалутдину-ата тогда гости приезжали? Ты на сносях была, а Расима-апа хворала сильно, пришлось мне самой на стол подавать. Когда я входила, они сразу замолкали, а как выходила – опять говорили. И вот когда они уже расходиться собирались, будто шайтан в меня вселился... притаилась я за дверью и немножко послушала.

– И что?

– Про Буйнакск говорили, про убитых, и про оружие, и еще Джамалутдин-ата спрашивал, что с Мустафой делать, мол, не нравится тому это все, муллой стать хочет, а кто-то ответил – поздно уже, Мустафа много видел, и вообще, какой из него мулла. Мужчины рассмеялись, а Загид громче всех. Дольше я побоялась под дверью стоять, ушла. Вернулась, только когда гости уехали, и муж позвал убираться.

– Кто еще знает?

– Никому не говорила, вот тебе только.

Вид у Агабаджи виноватый и испуганный, но вместе с тем торжествующий, ведь она раньше меня узнала, чем занимаются наши мужья. Странно, но я не чувствую ни ужаса, ни гнева, вообще ничего. Только пустоту внутри. Агабаджи сказала правду, в этом нет сомнений.

Почему тогда ее рассказ на меня никак не подействовал? Наверное, это шок, доходит вдруг до меня. Только в состоянии шока люди остаются спокойными после дурных известий.

– Я пойду, – говорит Агабаджи, внимательно глядя на мое лицо. – Расима-апа хватится.

Она встает и уходит. А я продолжаю сидеть возле кровати, на которой остался опустевший поднос. Я смотрю на него и не понимаю, как я могла есть всего десять минут назад. Так много в моей жизни изменилось за это время...

Да изменилось ли? Как я жила, так и буду жить дальше. Заниматься детьми и хозяйством, беременеть и рожать новых детей. Только теперь каждую минуту буду знать: Джамалутдин может умереть. Это реальность, к которой нелегко привыкнуть, но я привыкну и к ней, как привыкла ко всему остальному. Моя любовь к мужу не станет меньше только потому, что он выбрал несправедливый путь.

Кто я такая, чтобы судить его? Всего лишь слабая женщина, не обладающая ни знаниями, ни опытом, чтобы иметь собственное мнение. Я уверена, Джамалутдин не стал бы заниматься таким, будь у него выбор. Он справедливый, мудрый человек. Поэтому, когда Джамалутдин вернется, я никак не покажу, что о чем-то знаю. Все равно он не скажет правду, только разозлится, да и Агабаджи не поздоровится, а я обещала ей молчать.

Но на деле все совсем не так просто. На следующий день машина Джамалутдина въехала во двор. Самое трудное оказалось – подойти к мужу, чтобы приветствовать его. Впервые у меня появилась от него тайна, и хотя тайна эта не моя, и не делает меня в чем-то перед ним виноватой, от этого не легче. Джамалутдин наверняка заметил мое волнение и непременно спросит о его причине. Придется солгать, и я заранее прошу у Аллаха прощения за этот вынужденный обман, направляясь в комнату мужа с подносом, уставленным кушаньями. Впервые возвращение мужа не радует меня. Вдруг не смогу сдержаться и выдам себя...

– Ты какая-то странная, Салихат, – говорит Джамалутдин, пробуя дымящуюся ароматную халпamu^[7] с бараниной. – Что случилось, говори.

Под его пристальным взглядом я съеживаюсь, призывая на помощь мужество.

– Ай, Джамалутдин... мне нет прощения. По моей вине чуть не умер наш сын.

– Рамадан? Или...

– С младшим все в порядке. Это Джаббар... то есть, с ним тоже уже все хорошо, но он...

– Успокойся, – Муж отставляет в сторону тарелку, приготовившись внимательно слушать. – Просто расскажи мне все, а я сам решу, насколько ты виновата.

Я сбивчиво, опустив глаза, рассказываю про дождь, про собственную беспечность, про болезнь Джаббара, и что врач хотел забрать его в больницу, а Расима-апа не позволила... Когда я умолкаю, Джамалутдин долго молчит. Так долго, что еще немного – и я закричу от ужаса. Лучше бы он ударил меня. Внезапно страх перед наказанием вытесняет прочие страхи. Видимо, мой проступок куда серьезнее, чем я думала.

– В том, что случилось, нет твоей вины, Салихат, – внезапно говорит Джамалутдин.

– Как нет? – не могу поверить своим ушам. – Я же сказала, что...

– Я слышал, что ты сказала. – Он нетерпеливо поводит плечом, это знак, что мне надо умолкнуть. – Джаббар заболел не потому, что ты плохо за ним смотрела, а потому, что загружена домашними делами, даже когда у тебя младенец на руках. В доме есть еще женщины, способные разделить с тобой хлопоты по хозяйству. Я давно хотел попросить Расиму-апа, чтобы она поровну распределяла обязанности между собой, тобой и Агабаджи, но не было случая. Теперь пришло время. Сегодня с ней поговорю.

– Ай, нет, Джамалутдин, прошу, не надо! Вы не знаете... Расима-апа, она... – Я в испуге умолкаю, осознав, что чуть не поддаюсь преступному искушению.

– Что? Говори.

– Прошу... – беспомощно повторяю я, на коленках отползая в дальний угол комнаты. – Не заставляйте меня... накажите меня, я одна виновата в болезни Джаббара...

– Ну-ка иди сюда!

Джамалутдин резко поднимается, в два шага преодолевает расстояние между нами, подхватывает меня под мышки и волочет на циновки. Я подчиняюсь, он в сто раз сильнее меня, и – странное дело – мне нравится эта сила в Джамалутдине, я невольно загораюсь от прикосновения властных рук и закрываю глаза, покоряюсь неизбежному. Ощутимая встряска за плечи заставляет меня очнуться и посмотреть на мужа. Он возвышается надо мной, вот сейчас он по-настоящему зол, и мои губы начинают дрожать.

– Что происходит в те дни, когда меня нет? Обычно я спрашиваю у тетки. Теперь хочу услышать от тебя.

Аллах, видимо, все же решил наказать меня в мудрости Своей. Но что за ужасное наказание выбрал Он! Доносить на Расиму-апа... Она непременно узнает, и тогда ее отношение ко мне, которое улучшилось, вновь изменится. Словно прочитав мои мысли, Джамалутдин добавляет:

– Все, что скажешь, не выйдет из этой комнаты. Но ни слова лжи! Так что случилось за последнюю неделю, кроме того, что Джаббар болел?

– Ничего такого, клянусь. Мы с Агабаджи работали, и Расима-апа работала. Готовила еду, и... – Я запинаясь, лихорадочно придумывая для нее какое-нибудь правдоподобное занятие, но мне на ум ничего не приходит, ведь не скажешь же мужу, что почти целыми днями, пока его нет, Расима-апа только и делает, что принимает соседок да пьет чай с карамельками.

– Тебе хватало времени, чтобы кормить Рамадана, заниматься Джаббаром и отдыхать?

– Конечно, – храбро вру я, надеясь, что Аллах простит мне маленькую ложь про отдых.

– Ну хорошо. – Джамалутдин прохаживается по комнате, забыв про остывшую халпamu. – Теперь скажи, почему Расима-апа не позволила забрать Джаббара в больницу?

Уж конечно, Расима-апа не снизошла до каких-либо объяснений в тот ужасный день.

– Может, потому, что кому-то из нас пришлось бы ехать вместе с ним, а меня с мужчиной Расима-апа никак отпустить не могла. Да и Рамадан (имеется в виду не пост – пост уже закончился, а младший сын), как бы я его оставила?

– Могла поехать Агабаджи. Ты понимаешь, что Джаббар мог умереть?!

Из моих глаз начинают течь слезы.

– Ох, Джамалутдин, я так сильно испугалась. Все молила Всевышнего...

– Прекрати. Сейчас прекрати плакать, ну? – Муж говорит со всей строгостью, на которую способен, но я понимаю – это он потому, что так надо, а на самом деле уже не гневается. – Молоко пропадет, чем станешь ребенка кормить? Давай иди к нему. Он с кем там? Один?

– Спит он. Иду, да, простите меня, – бормочу я, поднимаясь и пятясь к двери.

Оказавшись в своей комнате, обессиленно сползаю на пол, не обращая внимания на жалобный плач малыша (Джаббар вместе с дочками Агабаджи играет в гостевой комнате под присмотром Расимы-апа). Мои ноги трясутся, руки липкие от пота. Но одновременно с пережитым страхом я испытываю невероятное облегчение. Он не узнал, не выпытал мою страшную тайну! О, если бы и все последующие дни сохранить ее! В этот момент я ненавижу жену Загида за то, что она сделала меня своей соучастницей. Из-за нее я едва не донесла на Расиму-апа, чтобы отвести мысли Джамалутдина от грозящей мне опасности.

Поздним вечером, когда я сижу на постели и расчесываю длинные, отросшие ниже пояса, волосы, неожиданно открывается дверь и входит Джамалутдин. Сначала он замирает на пороге, глядя на меня, а потом закрывает дверь и подходит к кровати. До окончания нифаса еще несколько дней, и я не ждала его в спальне сегодня, поэтому испуганно вскакиваю, уверенная, что стряслось плохое. Но муж не выглядит встревоженным или сердитым. Он говорит:

– Продолжай.

Джамалутдин устраивается на полу и смотрит, как я снова начинаю расчесывать волосы. Я смущена, хотя и рада его приходу. Так соскучилась по нему за этот месяц! Но Джамалутдин не посмеет нарушить запрет, он просто посидит немного и пойдет спать. Его взгляд прожигает меня насквозь, я смущенно опускаю глаза, уводя недостойные мысли в сторону. Старательно думаю о детях и о том, что завтра утром нужно замочить нут и поставить кипятиться много воды для стирки... Но вот Джамалутдин одним движением стягивает меня

на пол, щетка со стуком падает на голые доски, и я испуганно кошусь в дальний угол комнаты – не проснулись ли мальчики?

Муж начинает меня целовать. Его поцелуи требовательные, совсем не похожи на обычный поцелуй перед тем, как идти спать. Его руки спускают с моих плеч сорочку, губы обжигают кожу, я слышу тихий стон – в нем и желание, и нетерпение, и мучительная потребность быть со мной. Машинально упираюсь ладонями в широкую грудь мужа, пытаюсь освободиться, и бормочу:

– Сегодня нельзя... еще пять дней...

– У тебя ведь уже закончилось?

Я понимаю, о чем Джамалутдин спрашивает, и смущенно киваю, сама не своя от желания, которое от него так быстро перешло в мое тело. Ох, что же такое со мной, ведь уже больше двух лет с первой брачной ночи, я давно бы должна привыкнуть к ласкам мужа, но каждый раз шайтан забирает мой мозг и волю, оставляя взамен горячие волны внутри, которые уже не уйдут просто так. Я знаю, что никакие запреты Джамалутдина не остановят, я целиком в его власти, ничего тут не поделаешь.

– Аллах простит наш грех, – бормочет Джамалутдин, укладывая меня на кровать. – Я больше не могу ждать.

В этот раз, несмотря на долгое воздержание, я не могу целиком отдаться ощущениям. Мне кажется, что один из детей сейчас проснется. Рамадан может захотеть кушать, а Джаббар спит очень чутко, и те звуки, которые мы издаем, могут разбудить его. Когда все закончилось, и я заворачиваюсь в простыню, Джамалутдин спрашивает, почему я такая напряженная, неужели из-за того, что мы не дождались окончания нифаса? Я объясняю. Джамалутдин кивает:

– Да, дети должны спать в другой комнате.

– Но... – Я растеряна. – Ведь Рамадан совсем маленький, я по ночам его кормлю...

– Дети будут спать в другой комнате, – жестко повторяет Джамалутдин.

Сейчас он совсем не похож на нежного любовника, каким был несколько минут назад. Его брови сурово сдвинуты, голос не допускает неповиновения. Я не удивлена, давно привыкла к таким внезапным переходам в его настроении, остается лишь подчиниться.

– Хорошо. Завтра перенесу колыбельку Рамадана и матрас Джаббара в соседнюю комнату, буду оставлять на ночь дверь открытой.

Услышав то, что и хотел услышать, муж так же быстро смягчается. Он ложится, опираясь на согнутую руку, и смотрит, а я отвожу глаза, потому что на его лице снова желание.

– Иди сюда, – говорит Джамалутдин.

Я устраиваюсь на его груди и вздыхаю от счастья. Вот бы лежать так бесконечно, чтобы Джамалутдин никуда не уезжал и мне не надо было за него волноваться! Внезапно из глубины сознания всплывает вчерашний ужас от рассказа Агабаджи, и меня охватывает озноб, будто кто-то открыл окно и впустил в комнату дождь с ветром. Ай, зачем думать о том, откуда вернулся Джамалутдин и с кем встречался? Чего доброго, не смогу удержаться и спрошу его, и тогда не лежать мне больше вот так, чувствуя жар его тела и биение сердца...

– Завтра придут рабочие делать водопровод.

– Что? – От удивления я приподнимаюсь. – Вы не шутите, нет?

Джамалутдин смеется:

– Не шучу. Уже давно надо было. Придется копать во дворе, чтобы проложить трубы, а потом вскрыть часть стен, и на кухне тоже. Зато, когда работы закончатся, колонка станет не нужна. Вода потечет прямо из крана, а когда установим бойлер, то и горячая будет течь.

Какие удивительные вещи говорит мой муж! Когда он в первый раз рассказал про этот самый водопровод, еще когда Джаббар не родился, я не восприняла его слова всерьез. А он, оказывается, не шутил. И сколько же денег придется выложить за такое! Да еще этот бойлер, наверняка опасная штука. Если в нем все время будет кипяток, зачем держать его в доме, где маленькие дети? Может, Джамалутдин зря это затеял? Нетрудно таскать воду с колонки позади дома, это же не на родник ходить, в самом деле. Интересно, есть ли у кого еще в селе водопроводы? Наверное, в тех двух одинаковых каменных домах, которые стоят в отдалении, у въезда в село, они есть. В них с момента постройки никто не живет, во всяком случае, я ни разу не видела, чтобы к их воротам подъезжали машины или в них заходили люди.

– Но рабочие – мужчины, как мы станем при них мыться и готовить? – растерянно спрашиваю я, отчего Джамалутдин снова смеется.

– Пока работы будут идти на мужской половине, вас это не коснется. А потом посмотрим.

– Это чтобы нам жизнь облегчить, да?

Джамалутдин молчит. Я смотрю на его лицо, но не могу понять, о чем он думает. Для Зехры он не провел водопровод, значит, не любил ее так, как меня? Или дело вовсе не во мне? Может, это Расима-апа попросила сделать водопровод. Хотя она не ходит на колонку, но мыться любит с комфортом, чтобы воды было много, и нам с Агабаджи через день приходится греть на плите целый бак.

– Знаешь, Салихат, я в этом месяце никуда уезжать не буду, – вдруг говорит Джамалутдин. – Устал, отдохнуть хочу. Да и водопровод начнут делать, нельзя, чтобы вы оставались в доме с посторонними.

Мое дыхание перехватывает. Лежу не шевелясь, не веря. Неужто Аллах услышал мои молитвы? Неужто оставляет Джамалутдина только мне, пусть всего и на месяц?..

– Что молчишь? Или не рада?

– Ай, что такое говорите, – крепче обнимаю его. – Я так скучаю, когда вас дома нет...

Чуть не добавила: «А теперь еще и боюсь, вдруг совсем не вернетесь», но вовремя проглотила эти слова.

– Перестань уже говорить мне «вы»! Я тебе не чужой, а в твоём уважении и почтительности давно убедился.

Сегодня такой странный вечер! Сперва Джамалутдин нарушил запрет, потом сказал, что целый месяц будет дома, а теперь такое... Кажется невероятной мысль, что теперь я не смогу обращаться к мужу со всем уважением. Что скажет Расима-апа, когда это услышит? Или при посторонних все останется по-прежнему?..

Надо что-то сказать в ответ, но не могу ничего придумать. К счастью, в этот момент начинает плакать Рамаданчик, и я поспешно встаю, обернувшись простыней, и беру ребенка на руки. Джаббар привык спать под плач младшего братика, он просто поворачивается на другой бок, но сон его по-прежнему крепок.

– Он проголодался, – говорю, повернувшись к Джамалутдину. – Кормить пора.

– Хорошо, корми.

Он что, останется смотреть?.. Я в замешательстве сажусь на постель спиной к нему, не решаясь напомнить, что мужья не должны

при таком присутствовать. Отгибаю край простыни и даю Рамадану грудь, к которой тот жадно припадает. Теперь в комнате тихо, слышно только причмокивание малыша, но я спиной чувствую взгляд Джамалутдина. Мне одновременно стыдно и приятно, как будто мы еще ближе с ним стали, если только такое возможно.

Рамаданчик засыпает прежде, чем заканчивает есть. Он спокойный малыш, почти никогда не плачет, и животик не мучает его, как мучил когда-то Джаббара. Я кладу его обратно в колыбельку и возвращаюсь в кровать. Я смущена, мне хочется остаться одной, но Джамалутдин считает иначе. Он кладет руку мне на живот и говорит:

– Скоро опять понесешь. Пусть снова будет сын.

– Нет, – мотаю я головой. – Лучше девочка.

– А вдруг за девочку побью тебя, как Загид Агабаджи? – смеется Джамалутдин.

– Бедная Агабаджи... если родит еще одну дочку, что тогда с ней станет?

– Не бойся, жива останется, хотя и проку от нее никакого. Ну, – он склоняется надо мной, его лицо так близко, что я невольно закрываю глаза, – а теперь скажи мне «ты».

– Ай, нет... не могу... Может быть, завтра...

– Сейчас.

Слова, такие простые, будто застревают в горле. Зачем Джамалутдин меня мучает? Пусть бы все осталось, как есть. Он крепко держит меня и не собирается отпускать, покуда не услышит что хочет.

– Ты... останешься до утра?

Больше мне ничего в голову не приходит.

Вместо ответа Джамалутдин стягивает с меня простыню, и я удивляюсь, как это совсем недавно я хотела, чтобы он ушел?..

Это случилось через три недели после того нашего разговора.

За эти дни я привыкла, что Джамалутдин теперь почти всегда дома, отлучается только в магазин или к соседям, и в конце концов поверила, что так будет всегда.

Я снова, как в первые месяцы после свадьбы, каждое утро приношу ему завтрак, а после вечернего намаза жду мужа в спальне. Иногда кажется: я сплю и вот-вот проснусь, а Джамалутдин уже снова далеко. Но начинается новый день, и он тут, руководит прокладкой водопровода, принимает гостей, держит на коленях Джаббара и рассказывает ему что-то интересное, а сынок то серьезно хмурит бровки, то вдруг начинает заливисто смеяться.

Те серьезные бородатые мужчины приезжали к Джамалутдину аж трижды за неполный месяц. В такие вечера мы втроем: я, Расима-апа и Агабаджи – подаем много кушаний, чай и кальяны. Правда, последний их приезд случился уже после того, как на кухне из крана потекла вода, так что стало уже не так тяжело готовить и мыть посуду в большом количестве.

Три или четыре дня Расима-апа ходила очень на меня обиженная. Это Джамалутдин поговорил с ней, чтобы мне меньше работы стало. Я обрадовалась послаблению, но не потому, что лентяйка. Появилось больше времени на малышей, не только на своих, но и на Агабаджиных. Ее девочки меня заместо матери считают и ходят по пятам как привязанные.

Сначала Расима-апа всеми способами демонстрировала свое неудовольствие: бросала на меня злые взгляды, тяжело вздыхала и жаловалась на недомогания. При этом продолжала принимать соседок, ела как обычно и вид имела вполне здоровый. Я не обращала внимания, говорила с ней со всей почтительностью и при каждом удобном случае повторяла, как радуется Джамалутдин младшим сыновьям и как ждет от меня новых. Расима-апа смирилась и стала распределять дела на день поровну между мной и женой Загида, оставляя себе то, что мы никак не успевали.

Агабаджи весь последний год и так работала почти наравне со мной, а теперь целыми днями занята во дворе и на кухне тоже, хотя раньше появлялась там, только чтобы взять свежую лепешку или налить чаю. И жаловаться она забыла, и сил у нее на все хватает. В общем, все совсем не так, как раньше, когда Расима-апа ее за принцессу держала. Правда, это, может, только пока она снова не понесла. Загид ведь опять начал ходить в ее спальню, поэтому Агабаджи в хорошем настроении и даже иногда обращает внимание на дочек, чего за ней раньше не водилось.

В этот день непогода случилась – давно такого в наших краях не было. Когда я утром развешивала белье во дворе под навесом, дождь так и хлестал, того гляди, мокрый снег пойдет. Я вернулась в дом совсем продрогшая в своей толстой вязаной кофте, накинутой поверх платья. К вечеру дождь усилился, так что малышам пришлось забыть о прогулке. А раз их отцы тоже остались дома, пошалить не получилось, поэтому Джаббарик был не в духе, обижал девочек, а те боялись плакать или жаловаться – знали, что за слезы им от взрослых еще больше достанется. Так у нас родители с раннего детства приучают дочерей повиноваться мужчине.

Я рано закончила с делами, еще восьми не было. Рамаданчик уснул, а Джаббара забрал с собой в залу Мустафа. Недавно он начал читать ему вслух суры из Корана, я не возражала, наоборот, радовалась, что сынок становится ближе к Всевышнему. Расима-апа гостила у родственников в соседнем районе и должна была вернуться только через неделю. Джамалутдин после ужина попросил его не беспокоить и закрылся в своей комнате с Загидом, чтобы что-то обсудить.

Я наливаю в чашки горячий чай, кладу в пиалу фруктовые карамельки и несусь к Агабаджи, которая полчаса назад ушла укладывать дочек спать и попросила меня прийти, как освобожусь. Ногой толкаю приоткрытую дверь. Жена Загида поднимает глаза от платья, которое штопает при свете лампы, прикладывает палец к губам, кивнув на матрас, где спят Айша, Ашраф и Асият.

Ставлю поднос на крышку широкого сундука, который вместо стола, и сажусь на пол рядом с Агабаджи. Ее комната такая же просторная, как моя, но здесь всегда беспорядок. Из мебели только кровать да шкаф, который, должно быть, не вмещает всей одежды, раз

она по углам лежит, как придется, – и женская, и детская. Кровать разобрана, а тканое покрывало, подарок родственников Агабаджи на ее свадьбу, валяется рядом. Я дивлюсь, почему Загид не делает Агабаджи замечание, и неужели ей самой нравится жить в беспорядке, но, конечно, не спрашиваю ее о таком. Убирать или нет свою комнату – ее личное дело, главное, чтобы в доме, куда в любой момент могут войти гости, всегда было чисто.

Порыв ветра бросает в окно щедрую горсть дождя, стекло угрожающе трещит, и мы обе вздрагиваем. Агабаджи кутается в платок из овечьей шерсти, вид у нее какой-то болезненный. Я протягиваю ей чашку, но она словно не видит, в глазах странное выражение.

– Что такое с тобой? – спрашиваю, а сама боюсь услышать ответ: вдруг она еще что-нибудь узнала про наших мужей и сейчас станет рассказывать.

– Беременная я, – говорит Агабаджи и улыбается все шире, а потом смеется от счастья.

– Ай! А если... – невысказанный вопрос замирает на моих губах, я гляжу на нее с испугом.

– Теперь уж точно мальчик. – Голос у Агабаджи такой уверенный, будто она в России проверилась на том аппарате для беременных. – Вот даже думать другое не хочу, понятно, да?

– Конечно, мальчик, – поддерживаю я ее, хотя сама в сомнениях. – И когда срок?

– Да не скоро еще, летом.

– Загид знает?

Она мотает головой.

– Боюсь говорить. Вот когда живот увидит, тогда и узнает... а пока поживу спокойно.

Мы смеемся, и этот смех объединяет нас против всех тех мужчин, которые бьют своих жен за рождение девочек. Странно, думаю я, мы стали настоящими подругами, а ведь не так давно друг друга совсем не выносили.

Да и зачем нам вспоминать прошлые обиды? Мы теперь взрослые женщины, по очереди детей рожаем, у Агабаджи вон четвертый на подходе. Ох, хоть бы и правда уже был у нее мальчик! Насколько она хочет сына, настолько я мечтаю о дочке. Даже знаю, как ее будут звать:

Эльмира. Такое красивое имя! Джамалутдин позволил мне самой выбрать имя для нашей первой дочери, когда она появится на свет. Но пока я не ощущаю признаков новой беременности.

Мы пьем чай, хрустя карамельками, и разговариваем про воспитание детей и о том, как важно, чтобы они росли правоверными мусульманами. Про хозяйство и про то, что больше не можем видаться с подругами, которые вышли замуж да разъехались по разным селам. Я часто думаю о Мине и Генже. За обеих сердце болит, все бы отдала, чтобы с ними повидаться, но если в случае с Генже это еще возможно, то о Мине давно пора забыть.

Агабаджи родом не из нашего села, и с родителями и братьями-сестрами видится редко. Ее мать, которой уже больше сорока, в том году сильно заболела после рождения последнего ребенка. Агабаджи навещала ее в Рамадан и вернулась расстроенная. Сказала, что больше домой не пойдет, хотя ее отец (с моим-то не сравнить!) к дочерям относится хорошо, не бьет их.

Пора укладывать Джаббара спать, и я встаю, чтобы идти за старшим сыном. В этот момент снаружи раздается звук, будто кто-то стучит в ворота. Окно спальни Агабаджи выходит не во внутренний двор, как мое, а как раз в сторону ворот. Замерев, я прислушиваюсь, но теперь слышу только привычный шум дождя. Верно, показалось, думаю я и собираюсь уже выходить, но тут звук повторяется. Теперь и Агабаджи его услышала, она удивленно приподнимается и смотрит в ту же сторону. Сомнений не остается: стучат в ворота, которые, конечно, уже заперты на ночь.

Агабаджи быстро подходит к окну, пытаясь взглянуть в темноту.

– Никак, стряслось что-то...

Мы в любом случае должны оставаться на своей половине, пока мужчины не велят нам другое. Встав рядом с Агабаджи, я вижу сквозь мутные потоки воды размытую фигуру в белой рубашке, это Джамалутдин, широко переступая через лужи, быстро идет по двору и пропадает в темноте. Дальше, сколько ни вглядываюсь, ничего не вижу, поэтому отхожу от окна и говорю:

– Должно быть, кто-то из соседей заболел, вот и пришли звонить по телефону в амбулаторию. Пойду я, Джаббару время спать, спокойной ночи.

– И тебе, – говорит Агабаджи, снова усаживаясь за шитье.

Когда захожу в залу, Джаббарик спит на кушетке, раскинув ручки и тихо посапывая, такой хорошенький, с вьющимися темными волосиками и тенями от длинных ресниц на пухлых щечках. Мустафа сидит рядом на полу, подогнув под себя босые ноги, и читает Коран, перебирая четки.

– Заснул почти сразу, только три аята успел послушать, – улыбается он. – Ничего, привыкнет. Завтра пораньше возьму его к себе.

Я склоняюсь, чтобы поднять малыша, как вдруг входит Джамалутдин. У него странное лицо. Спокойное и собранное, но я понимаю, что он встревожен. Его тревога передается мне.

– Оставь ребенка тут, – отрывисто говорит он мне. – Выходи.

Мустафа медленно поднимается, глядя на отца. Тот смотрит в ответ тяжелым взглядом, и пасынок, не выдержав, отводит глаза.

Аллах! Неужели беда с кем-то из родственников? – проносится в моей голове. Кто из них? Отец? Жубаржат? Дети?..

– Что? – выдыхаю я, оказавшись за дверью. – Что, скажи скорей!

– Иди за мной. – Джамалутдин быстро идет по коридору, я едва поспеваю, сердце от страха бьется где-то в горле. У входа на мужскую половину он останавливается и смотрит на меня так, будто в первый раз сегодня увидел.

– Ты без платка. Быстро сходи надень его и возвращайся сюда.

Я машинально выполняю его указание, и через три минуты мы входим на мужскую половину. Джамалутдин запирает на ключ дверь, разделяющую две части дома, и говорит:

– Так, теперь слушай. Расимы-апа нет дома, Агабаджи совсем дурная, толку от нее никакого. Загид поехал за врачом, вернется не раньше, чем через час. Осталась только ты. О том, что сейчас увидишь, не смей ни расспрашивать меня, ни рассказывать кому-то, поняла? Вообще никому, даже Агабаджи.

Я киваю, и мне становится еще страшнее.

– Хорошо. Знаешь ту пустую комнату – возле двери на задний двор? Принеси туда много теплой воды и полотенца. Только быстро, слышишь, да?

– Все сделаю. Но... что же такое случилось, Джамалутдин?

Я в ужасе смотрю на мужа, он колеблется – говорить или нет.

– Не задавай вопросов, сама увидишь. Ну, поторопись!

Бегу в мужскую комнату для омовений, дрожащими руками набираю в таз теплой воды (теперь, благодаря водопроводу, все стало куда проще, раньше пришлось бы кипятить на кухне бак), хватаю стопку наглаженных полотенец и, стараясь не расплескать воду, спешу мимо жилых комнат в хозяйственные помещения. Одна комната в самом конце дома пустует – там держат мешки с овощами, прежде чем спускать их в подпол на зимнее хранение. Последний раз я была в той комнате пару месяцев назад, мыла грязные полы после того, как мешки унесли. Сейчас дверь туда приоткрыта, я вхожу и сразу останавливаюсь, чтобы глаза привыкли к полутьме. Воздух в комнате спертый, пахнет пылью и джутовыми мешками, через окно без занавески виден все тот же нескончаемый дождь.

– Иди сюда, – слышу я голос Джамалутдина из дальнего угла, где тускло светит фонарь, положенный на пол. – Давай скорей воду.

Осторожно ступаю по скрипучим доскам, таз в моих руках дрожит, вода плещется о стенки. Джамалутдин сидит на корточках перед странной грудой тряпья и перебирает ее. Внезапно тряпье издает стон. От неожиданности я шарахаюсь в сторону, немного воды выплескивается из таза.

Переждав секунду, заставляю себя идти дальше. То, что я приняла за тряпье, оказывается человеком. Это бородатый мужчина с задранной кверху бледным лицом. Его глаза закрыты, ноги раскинуты, одна рука неловко загнута за спину, будто мужчина подложил ее, чтобы не так жестко было лежать на голых досках, а другая, правая, широко отведена в сторону. Мужчина снова стонет, и от этого мурашки ползут по спине.

– Ближе, – велит Джамалутдин и отодвигается в сторону, давая мне место.

Я опускаюсь на корточки, ставлю перед собой таз и рядом кладу полотенца. Теперь я вижу то, чего не могла увидеть, пока Джамалутдин не подвинулся. Мужчина ранен. Грязная белая рубаха разорвана от ворота до самого низа и открывает впалую волосатую грудь, которая тяжело поднимается и падает, и каждый раз при этом из глубокой раны в правом боку вытекает кровь. На полу большая темная лужа, и рубашка тоже вся в крови.

Кто принес к нам раненого и откуда? Это те вопросы, которые Джамалутдин запретил задавать.

Мне становится дурно от вида и запаха крови и от стонов мужчины, поэтому я закусываю губу и начинаю дышать глубоко, чтобы избавиться от приступа тошноты. Странно, но едва я поняла, зачем Джамалутдин меня сюда позвал, весь мой страх тут же прошел. Я не задумываюсь, что может означать появление этого мужчины в нашем доме и чем оно может обернуться для Джамалутдина и остальных, я просто знаю, что должна хорошо сделать работу, которую муж мне поручил.

Джамалутдин ничего не говорит, я и сама знаю, что от меня требуется. Подползаю ближе, беру из стопки первое полотенце, опускаю в таз и, отжав, осторожно прикладываю к ране. Мужчина дергается от боли и открывает глаза. Он смотрит на меня и пытается подняться, но Джамалутдин кладет руку ему на плечо и заставляет лечь обратно:

– Спокойно, спокойно, Абдулбари. Это моя жена.

Полотенце сразу становится красным. Я откладываю его в сторону и беру другое, потом третье. Кровь не останавливается. Мужчина уже не стонет, мне кажется, он потерял сознание. Я беспомощно оборачиваюсь к Джамалутдину, который стоит у окна и глядит во двор, но отсюда не видно ворот, наверное, он просто больше не может смотреть на раненого и ему хочется уйти туда, в ночь, подальше от всего этого.

– Не могу кровь остановить, – говорю я. – Он умрет, да?

Джамалутдин возвращается и внимательно смотрит.

– Неси простыню.

Я опрометью кидаюсь в чулан, где хранится постельное белье, хватаю первое, что под руку попадается, и бегу обратно. Джамалутдин крепко прижимает к ране последнее чистое полотенце и держит так, пока я обматываю простыню вокруг живота мужчины. Подтыкаю оставшиеся свободными концы, и, откинувшись назад, перевожу дух. Мои руки в крови, и платье тоже. Вода в тазу потемнела. Мне надо помыться и глотнуть свежего воздуха, но я не могу сдвинуться с места – сижу и смотрю на Джамалутдина. Его горящий немигающий взгляд удерживает меня в сознании.

– Скоро Загид привезет врача, – говорит он. – Совсем немного надо подождать.

– Можно мне теперь уйти? – прошу я без всякой надежды.

Но Джамалутдин неожиданно кивает:

– Иди. Если еще понадобится, я позову. Но, думаю, теперь он сможет дотянуть до приезда врача.

На языке вертится сотня вопросов. Кто этот человек? Как он попал сюда? Куда его увезут? Что с ним станет? Мне кажется, я знаю ответы, только боюсь себе в этом признаться.

Последний раз бросаю взгляд на мужчину, которого зовут Абдулбари – больше я ничего о нем не знаю, – и выхожу из комнаты. На свету сразу становится видно, в каком состоянии моя одежда и руки. Что я скажу Агабаджи или Мустафе, если сейчас встречу их?

Издалека слышу, как надывается Рамаданчик, и неизвестно, сколько он уже так плачет. Но в таком виде идти к ребенку невыносимо. В комнате для омовений я тру себя мочалкой, пока кожа не розовеет, и одеваюсь в чистое. Замаранное платье скатываю валиком пятнами внутрь и засовываю в грудку грязного белья. Смачиваю запястья и шею душистой розовой водой и спешу к Рамадану, который промочил пеленки и к тому же голоден. Не успеваю покормить и укачать его, как вспоминаю о Джаббаре. Вдруг Мустафа ушел и оставил его одного, а тот проснется и испугается того, что он не у себя в комнате? Беспокойство за сыновей помогает не думать об умирающем в нашем доме мужчине. Вот бы у меня было много детей! Тогда было бы некогда переживать о ком-то, кроме них.

Мустафа сидит на прежнем месте и перебирает четки. Джаббарик крепко спит. Я встречаюсь взглядом с пасынком. Сейчас он спросит, не может не спросить... Но Мустафа встает, желает мне спокойной ночи и уходит. Он знает куда больше моего, знает уже давно, только вынужден молчать, совсем как я с этого вечера.

Дети спят в своих постелях, час поздний, и мне бы тоже нужно лечь, но не могу, мысль о спокойном сне, когда в доме происходит такое, кажется абсурдной. Загид должен бы уже привезти врача, но я не слышала ни шума машины, ни голосов.

Плотнее завязываю платок и иду на мужскую половину. Джамалутдину это может не понравиться, но ведь я помогла ему, пусть мне и было страшно, неужели я не заслужила право узнать, что случилось потом?.. Останавливаюсь, замираю у закрытой двери. Из-за нее слышны тихие голоса Джамалутдина и его старшего сына. Значит, Загид вернулся! Но привез ли с собой врача? Ведь не всякий

согласится ехать ночью в незнакомый дом, за много километров, да еще по такому случаю. Я мало разбираюсь в ранах, но уверена, что у Абдулбари она от пули.

Дверь распахивается так внезапно, что я не успеваю отскочить – так и стою, во все глаза глядя на Загида, который так же смотрит на меня. Несколько секунд нашего потрясенного молчания длятся бесконечно, но следом за Загидом появляется Джамалутдин. Он спрашивает:

– Зачем ты здесь?

В его голосе нет злости, только усталость.

– Он умер? – спрашиваю я дрожащим голосом.

Почему-то мне очень важно, чтобы незнакомец не умер под этой крышей. Если ему суждено отправиться в лучший из миров, пусть это случится в другом месте.

– Нет, не умер. Его отвезут в больницу. – Джамалутдин лжет, я вижу это по его глазам. – Теперь иди, приготовь все для уборки. Я позову тебя.

Я отступаю в глубь коридора, но не ухожу далеко, а смотрю, что будет дальше. Загид выходит во двор, и вскоре до меня доносится шум заведенного двигателя. Джамалутдин выходит из комнаты. Он держит за ноги в грубых, заляпанных грязью ботинках то, что совсем недавно было человеком по имени Абдулбари, а теперь – просто простыня, под которой угадываются очертания тела. В дверном проеме появляется еще один человек – пожилой мужчина с седой бородой, в непромокаемом плаще, который держит мертвеца за вытянутые руки. Наверное, это и есть доктор.

Процессия выходит через распахнутую настежь дверь туда, где ждет машина. Вскоре Джамалутдин возвращается за потертым саквояжем, выносит его и ждет, пока отъедет машина. Потом запирает дверь и устало прислоняется к ней спиной. Проводит по лицу ладонями, вытирая дождевые капли, и зовет:

– Салихат!

В комнате пусто. Тут и раньше было пусто, но не так, как сейчас. Пока здесь лежал раненый, создавалось ощущение странной наполненности, а теперь здесь только мы с Джамалутдином, стоим и смотрим на то, что осталось от ночного гостя. Окровавленные полотенца, таз с темными сгустками, упаковки от бинтов,

использованные шприцы и лужа крови в том месте, где лежал Абдулбари, – все это мне предстоит убрать, и я с грустью думаю, что придется заново оттираться мочалкой и менять платье.

– Пойду за ведром и тряпкой, – говорю я и разворачиваюсь, чтобы выйти.

Джамалутдин придерживает меня за плечи, хочет что-то сказать, но, передумав, просто кивает и выходит вперед меня.

Будильник на тумбочке показывает половину первого, когда я падаю на постель, ничего не соображая от усталости. Через несколько часов предрассветный намаз, но Рамадан, проголодавшись, наверняка поднимет меня еще раньше. Стоит ли вообще засыпать, думаю я, тем более спать почему-то совсем не хочется. Едва закрываю глаза, перед ними возникает одна и та же картина: стонущий бледный мужчина и кровь повсюду: на полу, на одежде, на моих руках. Я настолько устала, что совсем не могу думать, и, наверное, это хорошо. Мои мысли, приди они сейчас, были бы ничуть не лучше той картинки.

Когда входит Джамалутдин, я почти уже проваливаюсь в сон – даже не в сон, а в странную дрему, в которой яркие видения чередуются с темными провалами. Сперва мне кажется, что это вовсе не муж, а одно из видений, порожденных ужасными событиями прошедшего вечера. Но Джамалутдин ложится рядом и обнимает меня, а я кладу голову ему на грудь, и мы лежим, пока я наконец не засыпаю. Кажется, что я сплю всего минуту или две, когда требовательный плач Рамадана взрывает тишину спальни.

Джамалутдина рядом уже нет. Может, он мне и в самом деле привиделся? Но на его подушке осталась вмятина, постель еще хранит тепло его тела. Я даю малышу грудь и смотрю за окно. Там по-прежнему темно, лишь далеко в небе дрожит тоненькая бледная полоска скорого рассвета. Дождь наконец-то закончился.

Позже я узнаю от Мустафы, что Джамалутдин и Загид чуть свет уехали, оставив его, Мустафу, за старшего. Кончился спокойный месяц, который я провела, как все другие жены нашего села: с мужем под одной крышей. Абдулбари, уже погребенный, сделал свое дело, хотя вряд ли осознавал это, когда его привезли к нам. Приходится лишь гадать, когда я снова увижу Джамалутдина. И – мысль, которую я гоню прочь, как бродячую собаку: увижу ли я его живым.

Двумя днями позже, подавая Загиду завтрак, я стараюсь не встречаться с пасынком взглядом. Мысль, что мы стали невольными сообщниками, заставляет меня снова и снова вспоминать то ночное происшествие, хотя больше всего на свете я хочу стереть его из памяти.

Загид молча ждет, пока я расставлю тарелки, но я чувствую – он не позволит мне так просто уйти. Забытое чувство уязвимости в его присутствии вновь вернулось, и оно настолько неприятное, что я машинально пытаюсь натянуть туго завязанный платок еще больше на лицо. Это не ускользает от внимания Загида, и он смеется. Мои щеки вспыхивают стыдом и яростью. Конечно, Загид мне махрам, то есть близкий родственник, в присутствии которого мне нечего смущаться, а тем более – бояться, но сейчас от него исходит ощущение опасности, какой-то скрытой угрозы, хотя я и пытаюсь убедить себя, что мне это только кажется.

– И давно ты все знаешь? – с деланным равнодушием спрашивает Загид, развалившись на стуле и лениво отщипывая кусочки от теплой лепешки.

Я замираю с пустым подносом в руках.

– О чем это вы?

– Не притворяйся. Меня тебе не надо бояться. – Он указывает на стул. – Садись. Давай садись, ну. Отдохни немного от дел. Целый день ведь на ногах.

Такая мнимая забота не может меня обмануть. Я понимаю, что это приказ, которому лучше подчиниться.

– Давно мы вот так с тобой не сидели, – продолжает Загид, глядя мне в лицо все с той же усмешкой. – Ты избегаешь меня, это нехорошо.

– Но я не ваша жена!

Ай! Как ни сдерживалась, мое отношение к нему все же вырвалось наружу. Но Загида, кажется, это только позабавило.

– Да, верно. – В его голосе сожаление, готова поклясться, – искреннее. – Была бы ты моей женой, уже двоих сыновей бы мне родила.

– Загид, Агабаджи обязательно родит сына. – Я с облегчением перевожу дух: кажется, опасная тема миновала. – Она знает свой долг и очень переживает...

Жаль, нельзя ему сказать, что Агабаджи беременна. Может, тогда он отстал бы от меня...

– Так что тебе известно, Салихат? – Загид хмурится, разгадав мою хитрость. – Не уходи от разговора и не притворяйся, что не понимаешь.

– Клянусь, ничего не знаю...

– Почему ты помогала моему отцу в ту ночь, когда здесь был раненый?

– Он попросил меня. Ему больше некого было попросить. Расимы-апа ведь дома нет, а Агабаджи, она... ну...

– Да, моя жена слишком тупая, чтобы ей можно было доверить что-то сложнее стирки. И что же ты поняла, когда увидела человека, истекающего кровью от огнестрельной раны?

– Мне некогда было что-то понимать, да и незачем. – Поднимаю голову и смело встречаю взгляд Загида, не отводя глаза, чтобы он не догадался, что я лгу. – Я просто делала то, что велел Джамалутдин. Сначала помогла с перевязкой, а потом помыла пол, вот и все.

– Ты знаешь, куда мы постоянно ездим, твой муж и я? – прямо спрашивает Загид.

– Нет.

– И что, никогда не хотела узнать?

– Мое дело – это дети и хозяйство. Если бы я спрашивала мужа, как он проводит свое время вне дома, то вряд ли стала бы ему хорошей женой.

Странно, но я успокоилась, поняв, что могу запросто лгать пасынку прямо в лицо. Мне нечего бояться, говорю я себе, ведь я и в самом деле не его жена, и стоит мне рассказать Джамалутдину об этом разговоре, как Загиду не поздоровится.

Наверное, он тоже это понимает, потому что позволяет мне уйти. Меня не надо просить дважды, я тут же поднимаюсь и направляюсь к выходу. Но что-то заставляет меня обернуться у самой двери. Загид смотрит мне вслед, и его тяжелый немигающий взгляд говорит о том, что он не поверил ни единому моему слову.

Ранним июльским утром я просыпаюсь оттого, что Джаббарик, стоя на полу в одной рубашке, дергает меня за руку и повторяет:

– Мама, мама, проснись! Тетя сильно кричит.

Спросонья не понять, о чем это он. Накануне я легла поздно из-за того, что у Рамадана резались зубки и он долго плакал. Пришлось носить его на руках, а он за последние месяцы сильно прибавил в весе, перейдя с моего молока на кашки. Когда сынок наконец уснул, руки у меня отваливались. Я даже утренний намаз пропустила, чего со мной давно уже не случалось.

– Почему не спишь? Рамаданчик плачет?

– Нет, – Джаббар мотает головой и повторяет терпеливо: – Тетя кричит.

В этот момент раздается вопль, который трудно не услышать. Будто неведомая сила сбрасывает меня с кровати и выносит в коридор. Это Агабаджи, она всегда так кричит, когда рожать начинает. Она и правда ожидала свой срок вот-вот, на днях.

Из мужчин никого нет, поэтому я могу не думать о том, что кроме рубашки, на мне ничего больше нет. В спальне Агабаджи полно народу: Расима-апа, Мугубат-апа и все три дочки Агабаджи. Жена Загида лежит на кровати и то плачет в голос, то кричит, как по покойнику, но никто ей не помогает, никто не стоит рядом, кроме напуганных девочек. Почему Мугубат-апа стоит в дальнем углу, ведь она должна быть возле Агабаджи в такой момент?..

Что-то не так. На простыне и на полотенцах кровь, между ног Агабаджи тоже, а сама она не корчится в схватках. Едва очередной ее крик затихает, слышится слабый писк, а когда Мугубат-апа поворачивается, я вижу у нее в руках шевелящийся сверток. Ребенок!

– Ай! – Я кидаюсь к Агабаджи и сжимаю ее ледяную руку. – Родила, уже!

Она пытается высвободить руку и отворачивается, трясясь от рыданий. Я смотрю на Расиму-апа, которая ни звука до сих пор не проронила.

– Мальчик, да? – спрашиваю, а сама жду, что кто-нибудь кивнет утвердительно.

– Неее, опять девочка, – говорит Ашраф, глядя на меня круглыми черными глазенками. – Одни сестренки, а нам бы братика! Папа на маму сильно кричать будет.

– Замолчи! – не своим голосом орет Агабаджи, хватая подушку и запускает в дочерей, которые в испуге шарахаются в сторону. Младшая начинает плакать.

– Уведи их, – велит Расима-апа. – Видишь, не в себе она.

Я вывожу девочек из комнаты, по пути захватив Джаббара, который с любопытством заглядывает в дверь, но войти не решается. Оставляю детей в зале, наказав Айше быть за старшую, и возвращаюсь обратно.

Мугубат-апа протирает мокрой тряпкой тело Агабаджи, задрав на ней рубаху до подмышек. Расима-апа меняет под ней простынь с презрением и брезгливостью на лице. Наверное, она еще раньше Агабаджи поняла, что рождение четвертой девочки подряд – это конец. Запеленатый младенец одиноко лежит на крышке сундука. Я беру малышку на руки, подивившись ее невесомости, и прижимаю к груди. Мне жаль Агабаджи, но эту кроху жаль еще больше. Едва родившись, она уже никому не нужна.

– Возьми ее себе, – вдруг говорит Агабаджи. – Возьми и делай с ней что хочешь.

Она, оказывается, наблюдает за мной. Лицо распухло от рыданий. Я растерянно смотрю на нее и хочу что-нибудь сказать, но Мугубат-апа меня опережает:

– Ай, стыдно такое говорить! – Она качает головой и легонько шлепает Агабаджи мокрой тряпкой по животу. – Это ж твое родное дитя, ниспосланное Аллахом высшей милостью Его...

– Не нужна мне она! – орет Агабаджи охрипшим голосом и ногой отпихивает Мугубат-апа от себя. – Всевышний дал, так пусть забирает обратно! Где мой сын? Чем я хуже Салихат? Ей вон скоро рожать, думаете, девочка будет? Ага, как же! Ей почет от мужа, а мне одни побои!

Я невольно кладу ладонь на округлившийся живот. Мой срок уже пять месяцев, и, судя по активности ребенка внутри, Агабаджи права – там снова мальчик. Я не могу обижаться на слова Агабаджи, мне

ужасно ее жалко, и все, что она говорит про малышку, нельзя принимать всерьез. Скоро она успокоится, приложит ее к груди, даст ей имя и будет молить Аллаха о снисхождении.

Мугубат-апа качает головой, всем видом давая понять, что она думает о таких неблагодарных, которые даже спасибо за помощь не скажут. Она моет руки в тазу, вытирает чистым полотенцем и, полная спокойного достоинства, удаляется. Следом идет Расима-апа, что-то успокаивающе говоря – видимо, сулит больше денег, чем обычно. Мы с Агабаджи остаемся одни, если не считать младенца. Я молчу, не зная, чем можно облегчить ее страдание.

– Иди, – говорит жена Загида и закрывает глаза. – Я устала, спать стану.

На полпути к двери я нерешительно останавливаюсь.

– Оставить ее тут, с тобой? Она чудесная, такая красавица...

– Сказала, делай с ней, что хочешь!

В голосе Агабаджи снова истерические нотки, и, чтобы не расстраивать ее еще больше, я поспешно выхожу, унося девочку.

Кладу новорожденную на свою кровать и сажусь рядом. Малышка – крохотная, с красным сморщенным личиком – спит, но вскоре наверняка проголодается и начнет плакать. Я по-прежнему растеряна. Был бы дома Джамалутдин, уж он бы знал, что делать. А Расиме-апа, по всему виду, нет дела ни до Агабаджи, ни до ребенка. Она, конечно, не преминет рассказать племяннику все подробности, когда тот вернется. Но сейчас у нее одна забота: умиловить Мугубат-апа, которая ушла обиженная и которую скоро снова звать в дом, на этот раз ко мне.

Я вспоминаю наш недавний разговор с Агабаджи, когда мы сидели вечером во дворе, отдыхая после изнурительного жаркого дня; я тогда устала не меньше, чем она, хотя у Агабаджи живот был огромный, а у меня только-только начал угадываться под платьем. В последнее время жена Загида ходила в плохом настроении: часто плакала, кричала на дочек, стала молчаливая и подавленная. Я спросила, может, недомогает она, к врачу надо? Агабаджи ответила, что предчувствие у нее нехорошее, мол, роды плохо кончатся. Я стала ее ругать и попросила больше не говорить глупости, а она так сказала: «Да ведь все равно мне житья не будет, коли там девчонка, а это

девчонка, уж ты поверь. Видать, так нам предназначено: тебе сыновей одних рожать, а мне – дочерей».

Может, и правда поменяться с ней детьми, вдруг думаю я. Возьму себе ее девочку, а когда у меня мальчик родится, отдам его Агабаджи. Но тут же ужасаюсь своей мысли. Что сказал бы Джамалутдин, если бы услышал такое? Уж, верно, прибил меня, и поделом бы мне было. Он-то сам не свой сделался от радости, когда узнал, что я снова беременная и наверняка сыном, и пообещал купить мне все, что пожелаю, если только здорового рожу.

Не могу я вот так сидеть все утро, дети-то голодные, да и дела никто не отменял. Зову близняшек, велю присматривать за сестренкой, а сама иду готовить завтрак и кормить Рамадана, Джаббара и девочек. С удивлением вижу на кухне Расиму-апа, которая печет лепешки и уже заварила чай. Обычно она сидит у себя и ждет, когда ей принесут еду на подносе.

– На вот, для Рамадана. – Она протягивает мне миску с жидкой теплой кашей. – Остальных сама накормлю, зови их сюда, только пусть сначала руки помоют, а то знаю я их.

– Спасибо... – Я пытаюсь скрыть изумление. – Сейчас быстро вернусь, помогу вам.

– Как она? – ворчливо спрашивает тетка Джамалутдина, вынимая из печи лепешки.

– Кто? Агабаджи или девочка?

– Про эту никчемную, прости меня Аллах, и сама все знаю! Лежит себе рыдает, как будто ум из нее вместе с ребенком вышел. Ай, опозорила перед уважаемой женщиной, как теперь в глаза соседям смотреть буду?

– Девочка спит, – поспешно говорю, чтобы Расима-апа совсем из себя не вышла. – Ей, наверное, имя нужно дать?

– Что? Какое имя? – Расима-апа смотрит удивленно, будто я глупость последнюю сказала. – А, да, ведь правда. Ну, Агабаджи-то все равно, мы у нее и спрашивать не будем. Аниса пусть будет, как моя старшая, а?

– Аниса – хорошо. Очень хорошо, – я киваю и иду кормить Рамадана.

Весь день Аниса лежит в моей комнате. Есть она не просит, только спит. После вечернего намаза, уложив сыновей, я сижу на полу,

прислонившись ноющей от усталости спиной к циновкам, и шью Джаббару штанишки, из прежних-то он вырос. Окно распахнуто, но пропускает внутрь совсем немного прохлады, на дворе безветренно. От духоты, а может, от утренних волнений, голове тяжело и хочется прилечь, но я продолжаю шить, прислушиваясь к дыханию спящей девочки. Первые сутки после рождения для ребенка всегда трудные, он может неожиданно умереть, сколько таких случаев у наших женщин было.

Вдруг входит Агабаджи. На ней та же рубашка, в которой она рожала, и больше ничего, а ноги босые. Волосы растрепаны, лицо опухло от слез. Неужели так и плакала с самого утра? Она пошатывается и держится рукой за косяк. Наверное, пришла забрать девочку. Но Агабаджи даже не смотрит в ее сторону.

– Прости, Салихат, – говорит она еле слышно. – Ты простишь меня, да?

– Ай, сядь скорей! – Я пытаюсь довести ее до кровати, но она упирается и не двигается с места. – Тебе в постель надо, зачем встала? Если нужно Анису принести тебе, так ты скажи, я принесу.

– Анису? – Агабаджи смотрит непонимающе.

– Расима-апа так девочку назвала. Правда, красивое имя? Она и сама будет красавицей, когда вырастет. От парней ее прятать станешь!

– Слушай, ты заботься о ней, да?

– Ты что, Агабаджи? – Я внимательно гляжу на ее лицо, и внутри поднимается страх. – И в самом деле мне отдать ее хочешь? А что Джамалутдин скажет? Что Загид скажет?

– Пойду я, лягу. – Она разворачивается и, шаркая ногами, медленно идет по коридору.

Я смотрю ей вслед, готовая кинуться на помощь, если упадет. Вдруг вижу – на полу, там, где она идет, остается ручеек крови. Совсем Агабаджи с ума сошла, думаю я, без шаровар с подкладными тряпками после родов расхаживает, если Расима-апа увидит, прибьет за такое!

Беру тряпку и старательно подтираю кровь, которая тянется до спальни Агабаджи. Я не решаюсь заглянуть в закрытую дверь, хотя голос внутри меня настойчиво советует сделать это.

Ложусь в постель, но заснуть не могу, слушаю тихое дыхание Анисы и думаю: зачем Агабаджи приходила, что за глупость вбила себе в голову. Неужто решила отказаться от девочки? Это немислимое

дело, детей у нас не бросают и в чужие руки не отдают, только если они совсем без отца-матери да близких родственников остались. Не иначе, Агабаджи умом повредила. Видимо, это у нее от страха перед Загидом, который не сегодня-завтра вернется и все узнает. Но Джамалутдин обещал, что не даст Агабаджи в обиду, а он свое слово держит. Надо утром сказать Расиме-апа, пусть за Агабаджи присмотрит, ведь случись что, вина на ней будет.

Малышка начинает плакать. Ее плач похож на жалобный писк, так же плакали Джаббар с Рамаданом, когда, родившись, требовали грудь. Я беру ее на руки и начинаю укачивать, но она не хочет засыпать, только смотрит на меня мутными глазенками и издает одинаковые звуки. Тогда я иду с ней на кухню, набираю в чайную ложку немного воды и осторожно вливаю в крошечный ротик. Аниса жадно зажимает ложку деснами, но это ведь не материнская грудь, поэтому девочка возмущенно выпихивает ложку изо рта и плачет с новой силой.

Выхода нет, надо нести ее к Агабаджи. Даже если она и не хочет кормить дочку, раньше утра молока все равно не найти. Попытаюсь ее уговорить, а если Агабаджи вконец заупрямится, позову Расиму-апа. Та разозлится, что с постели подняли, но поймет, зачем я это сделала, еще и спасибо скажет. Девочка и так слабенькая, а без еды совсем умереть может.

Странно – дверь в комнату Агабаджи открыта, внутри никого нет. Может, в уборную пошла? Положив Анису на смятую постель, выхожу обратно в коридор и смотрю на пол. Так и есть, кровавый след тянется в сторону, противоположную кухне, откуда я только что пришла. Я иду по следу, но он почему-то не заканчивается возле уборной, а ведет дальше, к выходу на двор. Засов откинут, хотя Расима-апа перед сном все двери проверяет, чтобы заперты были.

Мне становится страшно. Куда отправилась Агабаджи в такой час, да еще раздетая? Что бы она там себе не решила, это явно не к добру. Надо пойти поискать ее, не могла она далеко уйти в таком виде. На мне самой только рубашка, поэтому я надеваю юбку, накидываю платок и выбегаю во двор, тихо окликаю Агабаджи по имени.

Тьма стоит кромешная, ничегошеньки не видно. Я добегаю до ворот, но они заперты, значит, Агабаджи не выходила наружу, это хорошо. Но двор большой: если считать сад и хозяйственные постройки, до утра можно искать. Вспоминаю про фонарь, который

Джамалутдин держит в прихожей. К счастью, я нашла его сразу, включила – работает. Теперь я чувствую себя куда увереннее, держа фонарь в вытянутой руке. Он яркий, освещает все кругом, выхватывая из темноты то дерево, то сарай, то навес, под которым сушатся фрукты.

Агабаджи нигде нет. Я продолжаю выкрикивать ее имя, теперь уже в полный голос, потому что отошла далеко от дома и не боюсь разбудить детей или Расиму-апа. Но зато я боюсь, что мои поиски будут бесполезными, а еще темноты, и мой голос иногда прерывается.

Если бы я звала ее в тот момент, когда проходила мимо сарая с садовыми и огородными инструментами, то нипочем бы не услышала звук, который заставил меня остановиться. Это странный звук, будто хрипит раненое животное, и он точно доносится из глубины сарая, из-за приоткрытой двери. Меня охватывает ужас, но я должна туда войти и посмотреть. Что-то – уж не знаю, внутренний голос, или предчувствие, или что еще – отчаянно кричит мне: там Агабаджи.

Распахиваю дверь. В сарае ужасно темно, и я свечу вглубь фонарем. Мой взгляд сразу устремляется мимо лопат, грабель, ведер и мешков туда, где Агабаджи, висая под потолочной балкой, извивается, вцепившись в затянутую вокруг шеи веревку в отчаянном желании освободиться. Под ней валяется фанерный ящик из-под удобрений, от которого она оттолкнулась, когда накинула петлю.

Агабаджи еще жива, но глаза уже закатила, ее ноги мелко дергаются. Не выбирая, я хватаю из кучи сложенных у стены инструментов длинный изогнутый нож, который непонятно для каких целей здесь лежит, но уж точно, чтобы помочь мне спасти Агабаджи. Фонарь, отброшенный в сторону, светит вверх, прямо ей в лицо. Я забираюсь на ящик и пытаюсь дотянуться до веревки, одной рукой крепко обхватив Агабаджи, чтобы не извивалась так и не затягивала веревку еще туже. Сейчас жена Загида мне ужасно мешает, и, кажется, я ругаюсь сквозь зубы, а потом, захлебываясь от слез, взываю к милости Аллаха, чтобы дал мне достаточно сил осуществить задуманное. Мой бедный малыш толкает меня изнутри, ему явно не нравится, что я не лежу в постели, как полагается прилежной матери, а занимаюсь таким странным делом.

Я пилю веревку, но, видимо, нож затупился от долгого использования, потому что нитки, из которых она сплетена, поддаются

лезвию неохотно, лопаясь одна за другой, а не все разом. Веревка крепкая, в палец толщиной. И где только Агабаджи такую откопала?.. В тот момент, когда мне наконец удастся ее перерезать, жена Загида уже не хрипит, она тяжело падает на земляной пол, присыпанный свежей соломой, и не шевелится.

Теперь надо снять петлю с ее шеи. Веревка затянута так туго, что на коже вспух синюшный, с кровоподтеками, рубец. Я орудую ножом, стараясь не проткнуть лезвием шею, мне мешают слезы, которые все текут и текут, из-за них перед глазами мутная пелена, приходится то и дело останавливаться, чтобы вытереть их рукавом. При этом я не устаю звать Агабаджи, чтобы она знала, что я тут, не бросила ее. Я тяну веревку руками, сдирая в кровь кожу на пальцах, и когда она все-таки поддается, плачу, теперь уже от счастья.

Стаскиваю веревку через голову Агабаджи, а потом хлещу ее по щекам что есть силы и давлю ладонями на грудь, хотя толком не знаю, зачем это делаю. Агабаджи не дышит, не шевелится. Тут я вспоминаю, что колонка совсем недалеко от сарая, и, схватив жестяное ведро, несусь к ней, не разбирая в темноте дороги. Всхлипывая, качаю воду, она течет невыносимо медленно, я чувствую, что уходят секунды, на протяжении которых Агабаджи еще можно оживить.

Ташу в сарай почти полное ведро и опрокидываю на Агабаджи. Поток ледяной воды льется ей на грудь и голову, и в какой-то ужасный момент уверенность, что все это зря и уже ничего не поможет, становится невыносимой. Но вдруг я вижу шевеление, такое слабое, что сначала мне кажется – глаза меня обманывают, принимают желаемое за действительное.

Но нет, веки Агабаджи дрожат, словно она силится их открыть и не может. Левая рука медленно тянется к шее, проводит по ней сначала осторожно, потом сильнее. Агабаджи вздрагивает всем телом, издает сдавленный крик и, открыв глаза, резко садится. Она оглядывает невидящим взглядом сарай с дрожащими по стенам тенями от фонаря, меня, перевернутый ящик и обрывки веревки, а потом начинает плакать. Пусть, думаю я, обессилено опускаясь рядом, не буду ее пока утешать, теперь ее очередь поплакать, я вон сколько слез из-за нее сегодня пролила.

Мы сидим друг против друга. Я пытаюсь осмыслить, что спасла Агабаджи жизнь, и еще – что она едва не покончила с собой. За такой

грех двери рая теперь закрыты для нее, ведь сказано в Коране, что жизнь человеческая бесценна, и когда нам уйти в мир иной, решает только Аллах. Как она могла решиться на такое? Пытаюсь вспомнить случаи самоубийств в нашем селе и не могу. Ай, до какого отчаяния надо дойти, чтобы накинуть веревку на шею и оттолкнуть ящик!

– Зачем ты это сделала? – хрипит Агабаджи и начинает трястись от холода.

Наверное, она имеет в виду, зачем я спасла ей жизнь. Но на такие вопросы отвечать как-то не принято.

Я снимаю платок и набрасываю ей на плечи, но, конечно, этого мало. Рубашка Агабаджи мокрая насквозь, с волос стекает вода. Стараясь не смотреть на жуткий след на ее шее, я успокаивающе глажу Агабаджи по голове, сжимаю ледяные руки, пытаюсь их согреть, и говорю, что надо идти в дом, переодеться в сухое и лечь под одеяло.

Агабаджи послушно поднимается, тяжело опираясь на мое плечо, и мы медленно идем к дому в темноте теплой летней ночи. Она молчит, видимо, говорить ей очень больно, и та фраза была единственной, на которую она оказалась способна. Едва мы заходим в прихожую, я слышу многоголосие детских плачей: надрывается Рамадан, ему вторит Аниса, у которой от голода прорезался голос, а бедный Джаббарик рыдает и громко меня зовет, стоя в пустом коридоре в обмоченной рубашонке. Меня охватывает злость на Расиму-апа, которая продолжает спать, хотя должна бы услышать плач и выйти узнать, что стряслось. Я прислоняю Агабаджи к стене, по которой она тут же сползает на пол, хватаю Джаббара, целую залитое слезами личико, говорю, что мама вернулась и ему больше нечего бояться. На младших сил уже не хватает. Я открываю дверь к Расиме-апа и кричу, что случилось несчастье.

Едва тетка Джамалутдина, заспанная и растрепанная, появляется на пороге, дальнейшее перестает меня интересовать. Я устала, ужасно устала. Пусть Расима-апа суетится вокруг Агабаджи, призывая Аллаха в свидетели, что она была ей заместо матери, – я свое дело уже сделала. Надо бы покормить Рамадана, но не могу. Поэтому просто беру его с собой в кровать, с другой стороны укладываю Джаббара и, обхватив живот с притихшим внутри малышом, взываю к Всевышнему: «Прошу, Аллах Всемилостивый и Справедливый,

сохрани жизнь ребенку в моем чреве!..» А потом все пропадает, поглощенное мгновенным, похожим на обморок, сном.

На следующий день вернулись наши мужчины. Джамалутдин, услышав от Расимы-апа о том, что произошло, никак не мог поверить, пока наконец сам не пошел к Агабаджи. Он и минуты у нее не пробыл, вышел с искаженным от гнева лицом, после чего запретил Загиду заходить на женскую половину, а сам отправился к отцу Агабаджи, и вот сегодня тот пришел забрать свою дочь домой. Он сидит в гостевой зале, суровый и молчаливый, и ждет, отказавшись от угощения, которое принесла ему Расима-апа.

Агабаджи собирает вещи. Джамалутдин разрешил ей забрать одежду и украшения, которые были подарены к свадьбе и куплены за годы брака. Дочери – все четыре – остаются в нашем доме, Агабаджи не будет позволено навещать их, пока они не станут совершеннолетними и сами не захотят ее увидеть. С этого момента она считается разведенной, и может через какое-то время вновь выйти замуж, если, конечно, кто-то возьмет ее после попытки самоубийства и такого позора.

С того момента, как я вытащила Агабаджи из петли, с ней никто, кроме меня, не разговаривал. Расима-апа, отведя душу руганью вперемешку с воззваниями к Аллаху, оттащила Агабаджи в комнату для омовений, кинула ей сухую одежду и с тех пор к ней не приближалась, даже стакан воды не принесла, и детям запретила в ее комнату входить. На меня запрет не распространился, поэтому на следующее утро я пошла к Агабаджи. Она лежала, подогнув колени к животу, и смотрела перед собой. Я обняла ее и заплакала, уткнувшись ей в плечо. Агабаджи никак не реагировала. Но она была жива, и это было важнее всего. Я не простила бы себе, если бы не смогла спасти ее, так и ходила бы с этим всю оставшуюся жизнь. Мы не разговаривали, ни словечком не перекинулись, наверное, она не могла говорить из-за травмы горла. Я все ждала, что Агабаджи спросит про Анису, но она не спросила. Может, это и хорошо, потому что в тот момент я не знала, что ответить – боялась, девочка умрет без молока, а воду пить она отказывалась.

Но Расима-апа сбегала через дорогу к соседке, которая на днях разрешилась мальчиком, и взяла у нее немного грудного молока.

Соседка сказала, пусть Расима-апа приходит сколько нужно, молока на двоих хватит. Вот так она спасла Анисе жизнь, а я, получается, спасла жизнь Анисиной матери, хоть и никчемная она оказалась, эта Агабаджи, и вряд ли Аниса, когда вырастет, будет считать ее матерью.

Джамалутдин ужасно разозлился, когда узнал, что именно я сделала, чтобы вытащить Агабаджи с того света. Он отругал меня за то, что я одна стала искать Агабаджи, вместо того, чтоб разбудить Расиму-апа, а еще больше – за то, что произошло в сарае.

– Ты понимаешь, что рисковала ребенком? – гневно говорил Джамалутдин, расхаживая по комнате, пока я стояла перед ним, опустив голову, признавая его правоту и свою вину. – А если бы он вышел прежде времени? И ты бы после этого не могла уже понести? Где была твоя голова, Салихат? Молчи! Я знаю, что хочешь сказать. Увидела Агабаджи в петле, а дальше уже ни о чем не думала, так? Но твой долг, как матери и жены, был – думать сначала о себе и ребенке внутри. Единственное, что тебе следовало сделать, это позвать на помощь.

– Но к тому времени она бы умерла...

– Значит, на то была бы воля Аллаха! Все равно жизнь Агабаджи кончена, – помолчав, уже спокойнее добавил Джамалутдин. – Родители не выдержат такого позора. Ведь ее мать, говорят, и без того при смерти. А отец, если ему не все равно, что с дочерью станет, ушлет ее к родственникам в дальний район. За ворота ей теперь выходить нельзя, люди в лицо плевать станут, а то и камнями закидают.

– Она ведь не виновата. – Я подняла на мужа умоляющий взгляд. – Разум у нее повредился от страха, что Загид приедет за девочку. Прошу, поговори с ее отцом, пусть будет милосерден!

– Салихат, – Джамалутдин покачал головой, – пока беременная, ты не можешь брать в руки Коран, так я буду тебе читать суры, которые ты, наверное, позабыла. Самоубийство – тягчайший из грехов после прелюбодеяния. Истинный мусульманин, какие бы испытания ни были ему уготовлены, не должен впадать в уныние и допускать мыслей об убиении себя, а тем более осуществлять их. Аллах не знает снисхождения к грешнику, если только грешник не раскаялся искренне в содеянном. Тогда грех с него снимается и он начинает жизнь с чистого листа. Я надеюсь, Агабаджи осознает все и постарается искупить свою вину. Если так, она будет прощена и родителями, и

остальными родственниками, ибо сам Всевышний ее простит. Но, прежде чем так станет, люди, нетерпимые к чужим грехам, могут совершить над ней самосуд, под предлогом, что хотели избавить Агабаджи от более сурового наказания в аду, которое неминуемо ждало бы ее там, если бы она избежала наказания в этой, земной, жизни. А на деле они сделают это не из сострадания, а из желания не допускать ее до своих незамужних дочерей, а тем более – до сыновей, ищущих себе жен. Кто из отцов хочет, чтобы грешница, к тому же не способная рожать сыновей, переступила порог их дома как подружка дочери или невеста сына? Я уважаю жителей нашего села, Салихат, не сомневаюсь в их добродетели и мудрости, но все же, когда я пришел сегодня к отцу Агабаджи, первое, о чем попросил – отослать ее из нашей долины. И думаю, он сделает так, если не желает увидеть свою дочь мертвой в один из дней.

Полностью согласившись с тем, что сказал Джамалутдин, я все равно не могла перестать думать о несчастной Агабаджи, для которой испытания не закончились. Если отец отошлет ее далеко, ей придется из милости жить у родственников, которые изведут ее упреками и заставят выполнять всю тяжелую работу в доме, пока какой-нибудь пожилой вдовец не сжалится и не возьмет ее замуж. А если Агабаджи останется в доме родителей, то не посмеет даже выйти за ворота, не только из страха перед соседями, но и перед Загидом, который поклялся убить ее, пусть Джамалутдин и запретил ему произносить вслух такое. Но, где бы она ни оказалась, вряд ли когда-нибудь она снова увидит дочерей, и об этом мне думать больнее всего, ведь я сама мать, и разлука с детьми стала бы для меня худшим наказанием. Пусть Агабаджи не сильно любит девочек, но она дала им жизнь, а значит, навсегда с ними связана, и рано или поздно захочет обнять их, и это желание со временем станет невыносимым.

Мы с Расимой-апа наблюдаем из окна кухни, как Агабаджи идет позади отца к воротам, перекинув через плечо баул с вещами. Она низко опустила голову, замотанную платком, и старается идти как можно медленнее, не зная, что ждет ее на улице. Слухи по селу распространяются быстро, и наверняка все соседи уже в курсе, что стало с невесткой Джамалутдина Канбарова. Расима-апа удовлетворенно сказала, что никто и не думает обвинять в случившемся Джамалутдина или Загида, так что наш дом остался

уважаемым. Услышав такое, я нисколько не удивилась. Мужчины никогда не бывают виноваты за поступки женщин. Если женщина совершила грех, никто не будет разбирать, что толкнуло ее на отчаянный шаг, например на самоубийство. Когда Мина сбежала, не выдержав семейной жизни, ее за это все осудили, а Эмрату-ата только сочувствовали. Родители Мины даже извиняться к нему приходили, да только он их на порог не пустил, обвинив в том, что плохо воспитали дочь.

У самых ворот Агабаджи оборачивается, чтобы бросить последний взгляд на дом, где она несколько лет прожила и где остались четверо ее детей. Может быть, она видит нас, но мы не отходим от окна, а Расима-апа так вообще мстительно улыбается, как будто Агабаджи не ходила у нее в любимицах, пока двойняшек не родила. Мне по-прежнему ужасно жалко жену Загида (бывшую, поправляю себя), я едва сдерживаю слезы, отказываясь верить, что Агабаджи больше не будет с нами. С кем буду пить чай по вечерам? Кто будет присматривать за мальчиками, если мне понадобится уйти? Кто будет помогать с работой? Я успела к ней привязаться и понять, что она неплохая девушка, только характер у нее неуживчивый да ленится иногда. Разве можно было так с ней поступить? Все-таки она была Загиду хорошей женой, хоть и рожала одних девочек. Кто знает, возможно, следующим у нее бы родился мальчик. Но Агабаджи исчерпала свои возможности. Наверняка Загид вскоре приведет в дом новую жену. Интересно, кто это будет? И родит ли она ему сына?..

Когда калитка за Агабаджи и ее отцом закрывается, мы с Расимой-апа приступаем к привычным хозяйственным делам. Я готовлю обед и зову на кухню тех детей, которые уже едят взрослую пищу. Дочери Агабаджи садятся за стол и ждут свою порцию жижиган-чорпа. Они совсем не расстроены исчезновением матери. Дети в наших краях послушные и привыкли делать то, что велят им взрослые. Айше, Ашраф и Асият было сказано, что их мама уехала и вернется нескоро. Айша, правда, пустила слезу, но Джаббар нахмурил брови и погрозил ей кулачком, и та сразу успокоилась. Я не могу сдержаться и ласково глажу девочек по заплетенным в косички волосам, испытывая к ним нежность пополам с жалостью. Мне предстоит присматривать за ними как за своими, пока Загид снова не женится. Но даже когда у дочерей Агабаджи появится мачеха, они останутся мне родными, ведь я

никогда не делала разницы между ними и сыновьями. Ну, или почти не делала, ведь к девочкам следует относиться немножко не так, как к мальчикам, иначе во взрослой жизни им будет тяжело привыкать к власти мужчин.

Интересно, как я стану относиться к собственной дочери, когда она родится? Конечно же, буду любить ее не меньше, чем сыновей, но все же воспитывать так, чтобы она не кончила свою жизнь, как Агабаджи... Ай, как хочется верить, что всех моих детей ожидает счастливая судьба!..

Ровно через год после этих событий, в день, когда маленькому Зайнулле исполнилось восемь месяцев, Джамалутдин позвал меня к себе в комнату и сказал:

– Салихат, я уезжаю.

Я совсем не удивилась. Вернее, удивилась, но не тому, что муж уезжает, а тому, что он мне это говорит с таким серьезным лицом, да еще усадив на циновки. Весь этот год он так же, как и все предыдущие, уезжал и приезжал, когда считал нужным. Та история с раненым совсем забылась, больше ничего подобного в нашем доме не случилось, и даже гости – молчаливые бородатые мужчины на машинах с темными стеклами – к нам теперь приезжали очень редко. Я смотрела на него, по-прежнему улыбаясь, не чувствуя беды или чего-то такого.

– Нет, ты не поняла. – Джамалутдин присел рядом на корточки. – Мне надолго придется уехать... – Он помолчал, и пока он молчал, я увидела, что его лицо не только серьезное, но и грустное, возле глаз залегли морщинки, и на лбу тоже морщины, как будто в последнее время ему пришлось много думать. – Может быть... насовсем.

– Насовсем? Как это?

Я не успела испугаться. Только удивилась чуть больше, и все. Подумала – Джамалутдин шутит, но разве шутят с таким лицом и такими вещами?..

– Послушай, – терпеливо, как маленькому ребенку, говорит он мне. – Я уповаю на волю Аллаха и надеюсь, что до такого не дойдет. Я уверен, что вернусь домой... рано или поздно. Но ты должна знать: меня долго не будет. Может, полгода. Понимаешь?

– Нет... – Я качаю головой, отрицая то, что слышат мои уши, это слишком невероятно, чтобы можно было верить, зачем он требует от меня невозможного?!

– Салихат, да будь же серьезна! – Джамалутдин делает глубокий вздох, чтобы не раздражаться, и продолжает: – Загид останется в доме за старшего. Расима-апа, ты, Мустафа и дети станете слушаться его беспрекословно. В мое отсутствие он – это я.

– Зачем ты уезжаешь? Куда?

Я начинаю понимать, что он это серьезно, и меня охватывают отчаяние и ужас настолько сильные, что я впервые нарушаю правило: никогда не спрашивать мужа о его поездках.

– Этого не могу тебе сказать, – твердо говорит он; да и я не ждала другого ответа.

– Но... – Мои губы дрожат, из глаз вот-вот польются слезы, но я пока сдерживаю себя в слабой надежде, что все еще может измениться. – Как мы будем без тебя? Зайнулла совсем маленький, и другие дети... они не смогут...

У меня нет сил спросить то главное, о чем Джамалутдин и так знает: как без него буду я сама? Если он снова скажет про Загида, клянусь, закричу и брошу в стену стакан!

– Мне жаль, Салихат, – Джамалутдин встает и подходит к окну, как всегда делает, когда расстроен, – но чем быстрее ты смиришься, тем лучше для тебя. Мир не разрушится только потому, что какое-то время мы не будем вместе. Ведь жила же ты без меня семнадцать лет.

– Вай, что такое говоришь?! – Я вскакиваю, не своя от ярости и горя. – Когда я в отцовом доме жила, так совсем про тебя не знала, не любила тебя. Думаешь, хотела за тебя идти? Не хотела, да! Но теперь все поменялось, совсем-совсем поменялось, в моем сердце только и есть что одна любовь к тебе и детям. Я все эти годы молчала, Джамалутдин, но не потому, что не боюсь за тебя и мне все равно, где ты пропадаешь днями и неделями, а потому, что молчать приучена! Но каждый раз, как за тобой дверь закрывается, я молюсь Аллаху Милосердному, чтобы вернул тебя в дом живым, не оставил меня вдовой, а наших детей – сиротами. И когда ты возвращаешься, я тебе улыбаюсь и предлагаю поесть, а ты думаешь, Салихат дурочка, ничего не понимает, знай себе улыбается. Так, Джамалутдин? Скажи, так думаешь?

Джамалутдин давно уже не смотрит в окно, он теперь глядит на меня, и с таким изумлением, будто чудо увидел. Но мне все равно, что он сделает за такие слова, пусть ударит или в чулане замкнет, только я устала молчать. А теперь еще и это – решил уехать и уедет, я вижу по его глазам, и слова, которые вырвались, ничего, кроме новой боли, мне не принесут.

– Сядь, – тихо говорит он.

Я опускаюсь обратно на циновки, дрожа и всхлипывая. Джамалутдин молчит, его взгляд очень странный, и минуту мне кажется, что он сейчас сядет рядом, обнимет и начнет утешать. Но он продолжает стоять, не двигаясь. Чувствую, как между нами образуется пропасть, которая с каждой минутой все шире, мне ее уже нипочем не перепрыгнуть.

– Я подозревал, что тебе все известно, – вдруг спокойно говорит Джамалутдин, но его спокойствие только внешнее. – Да и как иначе, если я сам в тот вечер позвал тебя к раненому боевику. То, что ты не задавала мне вопросов, еще не значило, что тебе все равно, кто это и что с ним случилось.

Боевик! Так вот кем был Абдулбари. Странно, но я встречаю новость равнодушно, быть может, потому, что с самого начала знала. Внезапно меня осеняет догадка, что и гости, которые регулярно приезжали в наш дом, полный невинных детей, были из числа тех...

– Ты ведь еще раньше догадалась, так? – продолжает Джамалутдин, будто мысли мои читает. – Трудно скрыть от жены свои занятия, когда принимаешь в доме таких гостей.

– Разве нельзя было по-другому? – горько шепчу я, глядя на него снизу вверх и взглядом умоляя уничтожить эту ужасную пропасть. – Ведь у тебя свой бизнес, ты чтить Коран, и...

– Ай, молчи, женщина, не продолжай! – Он резко взмахивает рукой, его лицо искажается. – Это только мое дело, поняла, да? Сколько раз говорил: твоя забота – это дети и дом! То, что ты мне сказала сейчас, я и без тебя знаю. Думаешь, другие жены не ждут своих мужей домой? Думаешь, одна переживаешь? А знаешь, сколько еще наших мужчин делают то же, что и я?

– Какое мне дело до других, – тихо говорю, опустив глаза. – Ведь люблю я тебя.

– Значит, так, – Джамалутдин все-таки садится рядом и берет меня за руку, но в его прикосновении нет нежности, – то, о чем мы говорили, должно остаться здесь. Я уезжаю завтра. Связаться со мной не будет никакой возможности, только Загид станет получать от меня изредка вести, и я попрошу, чтобы передавал тебе привет от меня. От него я буду узнавать, что происходит в доме. Не только про детей, но и про тебя. Поэтому в мое отсутствие, как бы долго оно ни продлилось, ты должна не уронить себя, поняла? О деньгах на хозяйство не

беспокойся. Я оставлю Расиме-апа достаточную сумму, чтобы вы не знали нужды. От тебя я требую, помимо сохранения чести, только одно: заботиться о наших детях.

Этим вечером Джамалутдин приходит ко мне в спальню, и наша последняя ночь перед разлукой такая горькая, что я совсем не думаю о страсти. Хочу лишь бесконечно обнимать Джамалутдина, целовать его лицо и губы, навсегда оставляя в памяти его запах и вкус. Я так боюсь, что он не вернется! Этот страх кажется мне уже состоявшейся реальностью в отличие от тех, прежних. О, если б можно было приклеиться к нему намертво, стать с ним единым целым и быть вместе там, где ему предстоит оказаться!..

Но Джамалутдин, поцеловав меня на прощание, уходит, не оставшись на ночь.

На следующее утро он выходит за ворота, ни разу не обернувшись. Свою машину он оставил Загиду. Наверное, на улице его ждут, чтобы увезти далеко от меня. Едва муж пропадает из виду, Загид, стоящий рядом, растягивает губы в ухмылке. Он смотрит на меня, и в его взгляде я вижу такое, что хочу бежать к воротам, чтобы остановить Джамалутдина. Загид тихо говорит:

– Иди в дом!

И в его голосе такая угроза, что мне не остается ничего другого, только подчиниться.

В последнее время я часто задаю себе вопрос, знает ли Расима-апа, чем все эти годы занимался Джамалутдин, куда он уехал... или это знает только Загид? По лицу Расимы-апа не угадаешь, ведет она себя так же, как и всегда. Внешне у нас ничего не изменилось. Начиная с раннего утра и до вечера – тот же строгий распорядок, обязательные перерывы на молитву и подчинение младших старшим, а женщин – мужчинам. Точнее, теперь только одному мужчине – Загиду. Каждое утро, а их прошло уже пятнадцать с того момента, как Джамалутдин вышел за ворота, я все сильнее убеждаюсь, какую радость его исчезновение доставляет Загиду. Он стал в доме полноправным хозяином, и даже Расима-апа это признала, видимо, поняла, что чем скорей она это сделает, тем для нее же лучше.

Я не могу так, как она. Не хочу мириться с тем, что Джамалутдина с нами нет и Загид теперь над нами главный. Джамалутдин пока жив, но кто знает, что будет завтра? Каждый новый день будет отдалять нас друг от друга, так что в конце концов я не почувствую, если вдруг его больше не станет в этом мире, и буду по-прежнему уверена, что рано или поздно он вернется домой. Загид не скажет мне правду. Я и раньше подозревала, что старший сын Джамалутдина не особо чтит Коран и ведет себя совсем не так, как подобает мусульманину. Но теперь Загида некому сдерживать, и каждое утро, просыпаясь, я не хочу выходить из спальни, потому что боюсь.

Для страха вроде бы нет оснований. Загид появляется на нашей половине редко, только чтобы отдать распоряжение или разжиться горячим чуду. С тех пор как ушла Агабаджи, его вообще перестали интересоваться женские дела, а дочерей он вовсе не замечает. Да и девочки считают за лучшее не попадаться отцу на глаза. Четырехлетние Айша и Ашраф все больше замыкаются в себе, почти не разговаривают, разве только друг с другом, и часто сидят под навесом, тесно прижавшись друг к другу и присматривая за младшими. С недавнего времени Расима-апа стала давать им несложные поручения, и близняшки выполняют их беспрекословно, а

потом снова садятся под навес и молчат. Наверное, скучают по маме, ведь они-то хорошо ее помнят, в отличие от Асият и тем более Анисы.

Плохо, что Загид каждый день теперь дома, разве что от скуки пошатается по селу или ненадолго уедет на машине, но к ночи всегда возвращается. Когда я занимаюсь делами на нашей половине, то немного расслабляюсь, но стоит мне выйти во двор по хозяйственным надобностям, я чувствую, как Загид наблюдает за мной из окна. Я стала носить самую закрытую одежду, надвинутый на самые брови платок и юбку до пят, хотя раньше, особенно если мужчин дома не было или стояла жаркая погода, не придерживалась таких строгих правил.

О том, что раньше я хотя бы изредка выходила за ворота, придется надолго забыть. Загид ясно дал мне это понять. Любая самовольная прогулка, даже до родника, будет считаться побегом со всеми вытекающими последствиями, сказал он. Я не сильно расстроилась, ходить-то мне особо некуда, разве только к Жубаржат. Я видела ее в последний раз больше полугода назад, когда она приходила поздравить меня с очередным сыном, и соскучилась по ней. Жаль, что я не успела навестить ее до отъезда Джамалутдина и узнать последние новости об отце и его второй жене, которая так и не смогла пока родить ни одного ребенка.

Я не могу понять, почему Загид не женится снова, ведь уже год прошел с того дня, как Агабаджи вернулась в родительский дом, а потом и вовсе уехала куда-то далеко, как и хотел Джамалутдин. Любой отец, чья дочь на выданье, с готовностью отдал бы ее за него, а некоторые – хоть даже и второй женой. Попасть в семью Канбаровых считается за честь. Но я знаю наверняка, что еще ни в один дом не отправлял он Расиму-апа, иначе она сказала бы мне об этом. Ведь мы с ней дошли до того, что нет-нет да заговариваем на эту тему, очень уж тяжело управляться вдвоем с таким хозяйством. Агабаджи, хоть и ленилась да от дел отлынивала, когда беременная ходила, все же забирала часть работы себе. Вот мы и мечтаем с Расимой-апа о том, как Загид приведет себе жену, и будет нам безотказная помощница. Но я-то не только из-за помощницы хочу, чтобы пасынок снова женился. Не могу объяснить, почему во мне такая тревога поднимается, когда он смотрит на меня или заговаривает со мной. Я, наверное, слишком тоскую по Джамалутдину и расстраиваюсь из-за того, как именно он

уехал – не сказав ни слова о любви, не оглянувшись на меня на прощание, – вот и вижу все в таком мрачном свете.

Только в детях моя радость. Только с ними я отдыхаю от плохих мыслей – с ними, да еще с Мустафой. Каждый день он забирает Айшу, Ашраф и Джаббара в свою комнату и читает им Коран, заставляет учить суры и показывает, как правильно творить молитву, – и все это мягко, без окриков и наказаний, чтобы не отвратить детей от духовных занятий. Загид с презрением относится к брату, считает, что тот стал религиозным фанатиком, но по мне, это куда лучше, чем быть таким, как Загид. Мы с Мустафой никогда не говорим по душам, ограничиваясь только общими фразами. Он со мной неизменно почтителен и в разговоре опускает глаза. Но я знаю, что он повидал многое и знает такое, чего совсем не хотел бы знать. Он, так же как и я, боится за жизнь Джамалутдина и ждет его возвращения домой. И это нас сближает.

Через месяц с небольшим Рамадану будет два года. Он совсем не похож характером на старшего брата – тот серьезный, задумчивый и молчаливый, а Рамаданчик непоседливый, шумный, задиристый и частенько не слушается. Расима-апа ворчит, что скоро придется пускать в ход палку, но я, помня о наказаниях отца, каждый раз холодею от ужаса и уговариваю ее подождать, в надежде, что пример Джаббара и духовные уроки Мустафы вразумят маленького шалуна куда лучше палки.

Аниса, самая младшая дочка Агабаджи, немного отстает в развитии. Ей уже исполнился год, но она не говорит ни словечка и лишь недавно научилась ходить – даже не ходить, а неуверенно ковылять, хватаясь за все предметы, что попадают ей под руку, и частенько падая. Думаю, это у нее от того, что она ни дня не питалась материнским молоком, а еще потому, что Агабаджи, когда носила ее, была не в самом лучшем душевном состоянии, а это не может не отразиться на ребенке. Но я уверена, девочка вскоре догонит своих сестреночек. Месяца два назад я попросила Джамалутдина привезти из города детскую книжку с картинками, хотя он и был против: в нашем доме нет ни одной книги, кроме Корана. Но я убедила его, что тут особый случай, и он сдался. Книжка яркая, с крупными картинками и подписями под ними. Я говорю Анисе, что нарисовано на каждой картинке, а потом прошу ее показать пальчиком, где здесь кошечка, где

домик, а где солнышко. Рамадан всегда сидит рядом, когда мы занимаемся, и, если Аниса ошибается, громко смеется. Уж он-то всегда знает правильный ответ, мой сыночек.

Зайнулла – активный и здоровый малыш, я до сих пор даю ему грудь, поэтому он целыми днями ползает по комнатам, исправно кушает, спит и отправляет свои надобности. Думаю, скоро он встанет на ножки, во всяком случае, уже пытается, а я не позволяю: рановато.

Все три мальчика похожи на Джамалутдина, отличаясь между собой только незначительно. Они одинаково смуглые, голубоглазые, с темными вьющимися волосами, крепкие и довольно высокие для своего возраста. Не считая редких простуд, сыновья растут здоровыми. Слава Аллаху, та ужасная история, которая приключилась с маленьким Джаббаром, больше ни с кем из детей не повторялась.

Вчера Загид вошел на кухню, когда я была там одна – промывала нут к ужину, и, развалившись на стуле, некоторое время молча наблюдал за мной, а я старалась вести себя как обычно, только сжалась от дурного предчувствия.

– Джамалутдин велел тебе передать, что у него все хорошо.

Я чуть миску из рук не выронила, когда это услышала. Резко повернулась, забыв про осторожность, воскликнула:

– Ай! Звонил, да?

Загид нахмурился.

– Твое какое дело? Передал же, что тебе еще?

– Простите.

Я взяла себя в руки, внутри затеплилась слабая надежда, что, если я буду покорной, Загид расскажет еще что-нибудь.

– Он еще что сказал, может?

– Нет. – Загид встал и направился к выходу, но у двери остановился и добавил, удивленно покачав головой: – И зачем отец столько о тебе думает? По мне, так он не должен тебе отчитываться, что с ним да как. Будь ты моей женой, ходила бы по струнке и слово сказать боялась!

Он вышел, а я стала сама не своя от его последней, сказанной как бы невзначай фразы. В глазах потемнело от страха, я опустила на стул и положила голову на руки. Представила, что мой муж и правда не Джамалутдин вовсе, а Загид, но отказалась думать дальше, ведь такого просто не могло случиться и не будет никогда.

Аллах, что мне делать? Моя жизнь стала как ад, но я не могу никого попросить о помощи. Расима-апа наверняка обо всем догадывается, но молчит. Мустафа еще подросток. А Джамалутдин по-прежнему далеко, и вот теперь мне внушают, что его больше нет в живых.

С того дня, как он уехал, прошло почти пять месяцев. За это время Загид лишь дважды передавал мне весточки от мужа, каждый раз одинаковые, помещающиеся всего в одну фразу: все у него хорошо. В прошлый раз я не выдержала и спросила, когда Джамалутдин вернется, но Загид просто рассмеялся мне в лицо. Ему нравится смотреть, как я мучаюсь.

Я извелась, места себе не находила. Тоска и страх за мужа выедали меня изнутри, как кислота. Помогало лишь то, что от домашних дел, которые Расима-апа почти все переложила на меня, я, когда приходило время ложиться спать, падала на постель и мгновенно проваливалась в темноту. Возможно, Расима-апа специально нагрозила меня таким количеством работы, чтобы у меня не оставалось времени и сил на переживания.

Каждое утро, просыпаясь, я говорила себе, что прошел еще один день, и возвращение мужа хоть на чуточку, но стало ближе. Ведь скоро полгода, как он не дома, не может же он совсем нас оставить, и, если живой, скоро обязательно объявится.

Этим утром Расима-апа отправилась в магазин, тепло одевшись, потому что с вечера пошел мокрый снег – не такое редкое явление для конца ноября, но для меня означающее, что дети не смогут подолгу гулять во дворе, и придется придумывать им занятия дома, чтобы удержать от шалостей. Перемыв посуду после завтрака, я затеяла стирку детского белья: в комнате для омовений поставила на два табурета большой цинковый таз, заполнила его теплой водой, высыпала чуть не полпачки порошка и замочила все грязные штанишки, кофточки и платица.

Я была уверена, что никто, кроме Расимы-апа, сюда не войдет, поэтому сняла платок, закатала рукава рубашки и подоткнула юбку,

чтобы не замочить подол. Услышав за спиной шорох, подумала, что это один из детей пробрался в комнату, чтобы спрятаться или еще по какой-нибудь надобности. Но, повернувшись, увидела Загида. Намыленная рубашка с громким шлепком упала в воду, обдав меня брызгами. Я спешно попыталась привести в порядок одежду, но платок лежал далеко, у самого входа, а я не могла и шагу ступить – стояла и смотрела на пасынка, понимая, что он тут не просто так, наверняка что-то случилось.

Загид плотно прикрыл дверь и прислонился к ней спиной, скрестив руки на груди. Я не сразу поняла, что он внимательно разглядывает мой живот.

– Так ты не понесла? – вдруг спросил он.

– Что? – переспросила я недоуменно, невольно положив на живот мокрые ладони.

– Да сам вижу, что нет. Полгода прошло, как отец уехал, уж выросло бы.

Я не понимала, зачем он это говорит, только чувствовала, как стыд волной накрывает лицо и шею, спускаясь на грудь. Почему Загид так смотрит? Почему заслоняет собой дверь, не давая мне возможности выйти?..

– Слушай, что говорить буду, только спокойно, да? Мне жена нужна, такая, чтобы сыновей могла рожать. Ты как разходишь. Поэтому я тебя своей женой возьму.

Может, он водки выпил? Или это от той зеленой пасты, которую он жуёт, когда не курит свои сигареты? Мне захотелось смеяться, таким нелепым казался этот разговор.

– Вы не можете, – сказала я так, будто выговаривала неразумному ребенку. – Я замужняя. За вашим отцом, Загид, замужняя.

– За дурака меня держишь, да? – обиделся пасынок. – Так тебе скажу, никакая ты не замужняя. Никах только был. А в загс ходили вы? Ну? Говори, ходили?

Я покачала головой. В этом Загид прав, мы с Джамалутдином не расписаны. Мне это не важно, мало ли что там русские придумали. Бумаги эти официальные, зачем они нужны, если мы Аллахом на всю жизнь соединенные? За эти годы мне и в голову не пришло спросить Джамалутдина, почему был только никах, которым обходятся, когда берут вторую жену при живой первой. Вот моего отца понятно почему

в загсе с Джанисат не расписали. А мне разве надо о таком волноваться?..

– Знаешь, почему в загс не ходили? Чтобы ты, в случае чего, незамужней оставалась по закону. Ну, то есть по-прежнему как бы отцова была. Фамилия-то у тебя прежняя, правильно? Не Канбарова ты. Дети только Канбаровы. Но детям что будет? С них спрос небольшой.

– Не понимаю... За что спрос?

Мне стало жарко, потом сразу холодно, захотелось сесть, но оба табурета стояли под тазом. Я жалобно смотрела на Загида и хотела попросить, чтобы он перестал меня мучить.

– Ай, глупая женщина! – Пасынок взмахнул руками. – Притворяешься, да? Джамалутдин в розыске весь последний год. Боевикам деньги давал, за своего у них был. Скажи еще, что не знала. Почему он исчез? Опасно ему стало тут. И если вдруг что, мы тебя сразу к отцу бы отправили, а детей куда-нибудь подальше. Никто бы не выдал, что, соседи не люди разве?

– А вы, Загид? – медленно спросила я. – Вы с ним ездили, и Мустафу с собой брали...

– Вай, ерунда это все, да, – поморщился Загид. – Мустафа – ребенок по их понятиям, школу не закончил. И меня бы отец отмазал, так говорят, да?

– Вы мне не все сказали, да? Что еще случилось?

– Поймали отца в том месяце. Сначала в тюрьму посадили, а теперь казнили. Расстреляли как пособника боевиков.

У меня в груди воздух кончился. Я стала хватать его ртом, но его все равно было мало. Стены поплыли перед глазами, лицо Загида стало зыбко колыхаться, как отражение в воде.

– Поэтому ты, Салихат, теперь вдова. Ну, то есть по нашим законам, мусульманским. А по русским и замужем-то не была. То, что детей прижила без брака, так этих нечестивцев разве таким удивишь? Буду с тобой официально расписываться, поняла? Ты всегда мне нравилась, едва в наш дом вошла, подумал – ай, что за женщина, жаль, что махрам. И почему отцу досталась ты, а мне эта дрянь Агабаджи? Наплодила девок, куда их теперь девать! А ты мне мальчиков нарожаешь. Тебе какая разница, кому рожать? Женское дело – маленькое...

Голос Загида становился все тише, будто мне в уши запихивали кусочки ваты – один за другим. Но вот вату напихали так плотно, что я совсем перестала слышать. Одновременно со звуком пропала и картинка. Последнее, что видела, – это быстро вертящиеся вокруг меня стены и предметы, а потом они пропали, и наступил покой.

Я открываю глаза и не понимаю, почему среди бела дня лежу в своей постели, ведь, вроде, не больна. За окном предвечерний сумрак, а может, это потому так темно, что идет снег. Рядом с кроватью сидит Расима-апа. А она что тут делает? И где дети?..

Вдруг вспоминаю наш разговор с Загидом, те ужасные вещи, которые он говорил, но которые никак не могут быть правдой. Это он, наверное, специально выдумал, чтобы я сильнее мучилась. Как у него язык повернулся сказать, что Джамалутдин мертв. Он не...

– Салихат, – жалостливо говорит Расима-апа и скорбно качает головой.

В первый раз вижу у нее такое лицо с тех пор, как вошла в этот дом. Это лицо старой женщины, которая прожила жизнь и понимает многие вещи. Пожалуй, впервые за много времени на лице Расимы-апа сочувствие, причем не показное, а искреннее. И это пугает меня больше всего. Уж лучше бы она стала ругаться, мол, валяюсь тут, вместо того чтоб делами заниматься...

– Что? – шепчу я. – С Джамалутдином что?

– Вай, не знаю, – она отводит глаза и качает головой, – клянусь, не знаю. Слышала только от Загида... но откуда он может знать наверняка. К нам в дом никто не приходил, а если это только слухи, так кто им верить будет, слухам этим?

– Скажите мне, – я с трудом приподнимаюсь на локтях и пытаюсь заглянуть ей в лицо, – умоляю, скажите правду! Он погиб, да? Погиб?!

Мой голос срывается на крик, и Расима-апа, метнув испуганный взгляд на дверь, шикает:

– Тише! А ну, тише. Детей напугать хочешь? Они там, в соседней комнате.

Я прикусываю губы, чтобы из них не вышло ни звука. Нет нужды выпытывать у Расимы-апа. Правду Загид сказал. Я вдова. Вдова с тремя детьми на руках. Все случилось так, как говорила когда-то Агабаджи. Джамалутдин больше не придет. Я не смогу его оплакать,

не смогу тайком прийти на кладбище, чтобы постоять над его могилой. Я лишилась не только мужа, но и возможности оказать ему почести, подобающие нашим мертвецам.

Страшнее этого быть ничего не может, но самое страшное все-таки другое. Если Загид сказал правду о казни Джамалутдина, значит, и насчет женитьбы не соврал. То, что он мне махрам, его, видимо, ничуть не смущает. Если местный мулла не сделает над нами никах, значит, Загид найдет другого муллу – более сговорчивого. Если и второй откажет, Загид отведет меня в загс. Для него нет законов, кроме собственных. А если начну противиться, он отнимет детей.

– Расима-апа... Он что, в самом деле сможет на мне жениться?

Тетка Джамалутдина не кричит, что я сумасшедшая и что это за мысли в моей голове. Она даже не спрашивает, о ком это я. Значит, Загид сказал ей о своих намерениях. Все куда серьезнее, чем я думала.

Мой мозг отказывается верить в новую реальность. Все произошло так быстро, за какие-то часы. До того как Загид вошел в комнату для омовений, я была уверена, что Джамалутдин вот-вот вернется, надо только немножко подождать, и все опять станет как прежде. У меня не было уверенности в завтрашнем дне, но была защищенность, как и у всякой замужней женщины, матери нескольких сыновей. Не может Загид вот так просто, на глазах у всех, вершить непотребное! Я могу попросить защиты у своего отца... Но захочет ли тот вмешаться? Я вспоминаю искаженное злобой лицо отца, выкрикивающего проклятия, в тот день, когда он набросился на меня в гостевой зале, и понимаю: от него помощи не будет. А других кровных родственников-мужчин у меня нет.

Но ведь кто-то же должен меня защитить! Расима-апа не посмеет пойти против Загида, он теперь главный в доме, а она живет тут только из милости, потому что так хотел Джамалутдин. Если Расима-апа хоть слово скажет против, сразу окажется за воротами. Мой мозг лихорадочно ищет варианты. Странно, я совсем не думаю о том, что Джамалутдин умер. Я буду думать об этом потом, когда минует опасность для меня и моих детей. Выход найдется, он обязательно должен быть, только нужно немножко подумать...

Расима-апа поднимается, не сводя с меня внимательного взгляда, и говорит:

– Ты полежи, а я чаю тебе принесу. Можешь сегодня вообще не выходить, с делами сама управлюсь. О детях не беспокойся, за ними пригляжу.

– Спасибо, Расима-апа. – Я киваю, глядя перед собой, ни на минуту не прекращая думать.

У самой двери, поколебавшись, Расима-апа прибавляет:

– Ай, чуть не забыла. Загид приказал, чтобы ты из дому ни ногой. Поняла? Если что, мне за тебя ответ держать.

Я и без того стала пленницей, едва Джамалутдин уехал. То, что сказала сейчас Расима-апа, просто напоминание. Но в напоминании есть и предупреждение, не понять которое сложно. Пасынок, видимо, не допускает и мысли, что я могу ослушаться, иначе посадил бы меня под замок. Вполне возможно, он именно это и хотел сделать, но воспротивилась Расима-апа, которая тогда осталась бы одна с хозяйством и семьей детьми, старшим из которых едва сравнялось по четыре года.

Мешкать нельзя, не сегодня-завтра Загид приведет в дом сговорчивого муллу, и тогда мне уже никто не поможет. При мысли, что пасынок станет прикасаться ко мне, к горлу подступает тошнота. Может, все-таки рассказать отцу? Не говорить ему, что Джамалутдин умер, а сказать, что тот надолго в отъезде, а Загид решился на такое, о чем даже и думать грех, а не то что вслух произносить. Если я при живом муже (о, Аллах, пусть это и правда будет так!..) стану второй раз замужней, позор падет и на моего отца. Неужто он останется в стороне? Пусть отец меня не любит, но страх, что Джамалутдин вернется и призовет его к ответу, а то и потребует назад свои деньги, должен пересилить в нем остальные чувства. Да, пойду к отцу!

Вот только как выйти за ворота незамеченной? Загид и раньше-то почти никуда не отлучался, а теперь и подавно не станет. Расиме-апа приказано следить за мной. Надо набраться терпения и подождать, возможно, они на минутку отвлекутся, и вот тогда мне нужно бежать быстро, очень быстро.

Решив так, я немного успокаиваюсь. Когда Расима-апа вносит чай, на ее лице удивление: видимо, не ожидала от меня такой безучастности. Пусть лучше думает, что я помешалась от горя, чем станет подозревать в планировании побега. Я выпиваю чай и снова ложусь, попросив разрешения поспать. Расима-апа с готовностью

соглашается, забирает поднос и уходит. А я думаю о том, что теперь вовсе не смогу спать, пока под одной крышей со мной находится такое чудовище, как Загид.

* * *

Случай выпадает только через два дня.

Сразу после обеда прибежала соседская девочка за Расимой-апа: позвать к своей умирающей бабушке, которая частенько заходила к тетке Джамалутдина, покуда не заболела. Расстроенная Расима-апа тут же стала собираться. Прежде чем уйти, она какое-то время колебалась, раздумывая, может ли оставить меня на время без пригляда, но эти два дня я вела себя спокойно, даже равнодушно, да и Загид был дома.

– Идите, – сказала я ей. – Все хорошо.

Когда за Расимой-апа захлопнулась дверь, я перевела дух и пошла на мужскую половину. Распорядок дня Загида мне давно известен, надо было только убедиться, что сегодня по каким-то причинам он не изменил своей дневной привычке. Едва я подошла к комнате Загида, как поняла, что все в порядке: из-за двери раздавался громкий храп, пасынок, как всегда, лег вздремнуть после сытной еды. «Дремал» он обычно не меньше двух часов, и этого времени должно было хватить.

Я спешно оделась, не забыв про теплый платок и вязаную кофту под осеннее пальто (на улице было ветрено и пасмурно), обняла и поцеловала всех детей по очереди, но сыновей приласкала особенно, хотя и была уверена, что скоро вернусь. Наказав им, чтобы вели себя хорошо, я вышла из дома и быстро пересекла двор, ежесекундно ожидая за спиной грозного окрика Загида – вдруг ему вздумалось проснуться раньше времени и выглянуть в окно? Вжав голову в плечи, я почти бегом достигла ворот, открыла калитку и спустя мгновение оказалась по ту сторону.

Не разбирая дороги, надвинув платок по самые брови и подняв воротник пальто, я припустила к дому отца. По счастью, улица была почти пустынная, если не считать нескольких детей да стариков, которые сидят на своих лавочках в любую погоду. Я так боялась, что меня хватятся и вернут назад, что совсем не думала о том, как примет меня отец. Все, чего я хотела – поскорее оказаться в его доме.

На кухне Жубаржат изумленно глядит на меня, неспособная произнести хоть слово.

– Где отец? – спрашиваю я, развязывая платок и расстегивая пуговицы; от спешки мне стало жарко в кофте и пальто.

– Вай, Салихат, случилось что? – К Жубаржат возвращается голос: – С детьми, да?

Я качаю головой и обессиленно опускаюсь на стул. Вот сейчас, услышав наши голоса, в кухню войдет отец... Что он скажет? Что я ему скажу? Как объясню, что творится в доме Джамалутдина последние дни?

– Дома он? – повторяю настойчиво, хотя где ему еще быть, наверное, спит после обеда.

– Нет. – Жубаржат растерянно смотрит на меня, потом наливает в стакан воды. – На вот, выпей. Белая совсем...

– Когда вернется? Мне срочно...

– Да ведь он только вчера уехал. Не знаю, когда вернется...

– Уехал? Куда уехал?

– В Махачкалу. Джанисат с собой в машину взял. К врачу ее повез, тому, который по детям. Детей-то у них так и нету. Ну, это он только говорит, что врач для Джанисат, стал бы он с ней возиться, как же! Сам не может ничего, перед соседями стыдно, что жена пустая ходит, вот и решил потратиться, все свои сбережения вынул, представляешь? Детям лишнее пальто не купит, говорит – пусть старое донашивают, а как приспичило еще одного родить, так...

– Ай, погоди. – Я не слышу, что еще говорит Жубаржат, устало прижимаюсь лбом к коленям и, обхватив себя руками, раскачиваюсь от безысходности и отчаяния.

В этот момент в кухню вбегают дети. Их всего семеро, но кажется, будто налетел школьный класс – такие они шумные. Мои младшие братья и сестры кричат, смеются и норовят меня обнять, так соскучились. Да и я по ним тоже, и в другое время обязательно стала бы их целовать и тормошить, но сейчас не могу.

Жубаржат строго говорит детям всего несколько слов, и в кухне вновь наступает тишина. Когда я поднимаю голову, их уже и след простыл. Только в приоткрытую дверь заглянуло любопытное личико Алибулата, но его кто-то потянул сзади, и малыш исчез.

– Давай-ка рассказывай, – говорит мачеха, берет стул и садится рядом.

Я рассказываю ей все: с момента, как узнала от Агабаджи правду о том, чем занимались эти годы наши мужья. Рассказываю про раненого боевика и про Загида, как он с самого начала со мной обращался, про наш последний разговор с Джамалутдином и про то, что скоро уже полгода, как он уехал. Заканчиваю я тем, что сказал Загид два дня назад: мой муж мертв, а сам Загид хочет на мне жениться. Мой рассказ затягивается на добрых полчаса, потому что Жубаржат прерывает его недоверчивыми возгласами, уточняющими вопросами, проклятиями в адрес Загида и жалобными охами.

– Вот я и пришла к отцу просить помощи, откуда мне было знать, что он уехал...

– Ты подожди! – говорит Жубаржат, ее глаза сверкают решительностью и гневом. – Что мы, без Абдулжамала не управимся? Это где ж такое видано, чтобы пасынки своих мачех насильно брали? И это еще доказать надо, что Джамалутдина убили. Пусть тело покажут, да! Так что сейчас все решим, дай только немного времени подумать.

– Кто еще мне поможет, кроме отца? Кровные родственники все по району разбросаны, мамины братья в России на заработках...

Вдруг звонит телефон. Мы вздрагиваем, услышав его настойчивую трель в гостевой зале.

– Пусть, – машет рукой Жубаржат. – Абдулжамал не велит отвечать, когда его дома нет.

Телефон умолкает, но через минуту снова начинает трезвонить. Мы с мачехой переглядываемся, и я понимаю: она думает о том же, о чем и я.

– Ответь, – одними губами говорю ей.

Она идет в залу, я слышу «Але, да?», потом молчание, потом удивленное: «Что вы! Нет, и мужа нет дома. Уехал, говорю. А? Конечно. Если вдруг что, сразу позвоню». Со злостью кинув трубку на рычаг, Жубаржат возвращается.

– Расима-апа или Загид? – спрашиваю я.

– Расима.

– Значит, Загид еще спит, а она будить его боится. Нельзя мне тут больше, Жубаржат...

– И куда пойдешь?

– Обратно, домой...

– С ума сошла! – Жубаржат всплескивает руками. – Да они только и ждут, посадят тебя под замок и поминай как звали!

– Все равно идти мне больше некуда, да и дети там. – Я повязываю платок и тянусь за пальто. – Как вернется отец, расскажи ему все. Если захочет помочь – придет за мной.

– погоди ты! – Жубаржат выхватывает у меня пальто и кивает на стул. – Сядь и слушай, что скажу. О детях вспомнила – это хорошо. А раз вспомнила, сама посуди: что с ними станет, коли Загид своего добьется? Да в своем ли ты уме, в самом деле, туда возвращаться? К Мазифат-апа тебе надо, в Махачкалу, вот что.

Тетя Мазифат! Как же я про нее забыла? Она добрая, всегда меня любила и относилась, как к дочери. Ее муж влиятельный человек и сможет мне помочь.

– Ты знаешь телефон?

– Ай, нет, – Жубаржат мрачнеет, – только Абдулжамал знает, может, номер у него и записан, да только где ж его отыскать...

– Значит, так поеду, – говорю я и в ответ на недоуменный взгляд мачехи объясняю: – К Мазифат-апа. В Махачкалу. Ты же сама сказала.

– Ай, нет! – повторяет Жубаржат. – Я имела в виду – только позвонить! Как сама поедешь? Туда знаешь, сколько часов пути? Уйма километров, да по безлюдным дорогам.

– Пешком дойду. – Я решительно забираю пальто у Жубаржат. – Торопиться мне надо, чтобы до темноты... Здесь уже нельзя мне. Вот-вот Загид проснется, так перво-наперво сюда прибежит. Он не Расима-апа, не поверит тебе на слово.

– Слушай, что мне в голову пришло... – Жубаржат с минуту молчит, задумчиво прикусив палец и размышляя. – До соседнего села всего пять километров пешком. Генже там живет, подружка твоя, ну та, которая замужняя за Иршадом Алишеровым. Его сестра, Заира, за братом Генже, Нуруллой, замужняя... Поняла, да? Мы с Заирой вроде как подружки стали, за водой вместе ходим, судачим о том о сем. Хорошая она девушка, за год двух мальчиков родила, представляешь, да?

– Жубаржат... – Я переминаюсь с ноги на ногу. – Идти мне надо... ну при чем тут Генже? А тем более эта Заира?

– Заира ни при чем, точно. Я про Генже говорю, слушаешь меня, нет? Муж ее, Иршад, брат Заиры, в Махачкале работает, а живут-то они в соседнем селе, вот как! Каждое утро он на машине в город едет, а вечером возвращается. Мне Заира рассказывала. Так ты иди к Генже, неужели она за подругу мужа не попросит? Что ему, жалко тебя до Махачкалы довести?

Постепенно я начинаю понимать, о чем пытается сказать мне Жубаржат. Ай, вот голова у нее! Мы с Генже давно не видались, уж больше трех лет прошло, как она замуж вышла. Все эти годы я часто думала о ней: как-то сложилась у нее семейная жизнь, сколько детей она родила, не бьет ли ее муж? И вот теперь я смогу с ней повидаться, уж она-то будет рада меня видеть не меньше, чем я ее. Вряд ли ее Иршад плохой человек, если его сестра у Жубаржат в подругах.

– Как мне их найти? Может, спросить у Заиры адрес?

– Ай, какой адрес, ты с ума сошла? Вот еще давай сходи к Заире, там тебя Загид и найдет, ага. Село то небольшое, поспрашиваешь у людей и найдешь.

Я растерянно смотрю на Жубаржат, почему-то об этом я совсем не подумала.

– Но... как же дети? Мне обнять их надо, объяснить...

– Точно умом повредила, – качает головой Жубаржат. – погоди минуту.

Она выходит из кухни и вскоре возвращается, держа в руках небольшой сверточек.

– Тут вот деньги. Немного, но могут пригодиться... Ай, бери, говорю! Абдулжамал о них ничего не знает, это мои, сэкономленные, на такой как раз случай... Одеты ты тепло? Вроде опять снег собирается. Ну все. Давай, сестренка, иди скорей.

Я чуть не плачу от благодарности к мачехе. Крепко обнимаю ее и целую, закутываюсь в платок, прячу деньги поглубже в карман пальто. Теперь я готова идти.

Жубаржат окликает меня уже на выходе. Забыла что-то, видать. Я оборачиваюсь. По ее щекам текут слезы, а голос дрожит, когда она спрашивает:

– Салихат, ты ведь не думаешь, что он и правда мертв?

О ком это она? Я не сразу понимаю, что о моем муже, Джамалутдине. Сейчас я не допускаю и мысли, что его больше нет,

поэтому улыбаюсь и твердо говорю:

– Джамалутдин живой. Аллахом клянусь!

– Да, – Жубаржат кивает с облегчением, – да, конечно. Это я так просто спросила... Ну иди.

О том, что ждет меня в дороге, не хочу думать. Аллах не оставит меня Своей милостью, все будет хорошо. С этими мыслями я покидаю дом отца и вскоре, никем не замеченная, оказываюсь за окраиной села.

Путь до соседнего села растянулся на два часа, хотя летом я преодолела бы его раза в два быстрее. Идти пришлось медленно, увязая по самые щиколотки в каше из мокрого снега и время от времени сходя на обочину, чтобы пропустить редкие машины. Каждый раз я боялась, что вот эта нагоняющая меня машина – уж точно Загида, но спрятаться было некуда: с одной стороны тянулось бесконечное поле, с другой – лесистый пригорок, который отделял от обочины глубокий ров, заполненный водой.

Пока не стемнело, я поворачивалась к дороге спиной и вжимала голову в плечи, покуда очередной автомобиль не проезжал мимо, обдавая грязными брызгами. К счастью, никто не останавливался, чтобы спросить, не нужно ли меня подвезти. В наших краях одинокую девушку о таком не спрашивают, если только в машине не сидят плохие люди, способные на все. Честные мужчины предпочитают не замечать, что девушка идет без сопровождения.

Я шла и думала о Джамалутдине, о наших детях, о том, увижу ли их снова. Загид наверняка меня хватился и сейчас ищет, заходя в дома, где, как он думает, я могла бы укрыться. У Жубаржат он наверняка уже побывал, но ушел ни с чем, это точно.

Примерно на середине пути стемнело, и я перестала опасаться, что меня кто-нибудь увидит. Я не боялась темноты и безлюдья, ничего со мной тут случиться не могло. Эти места я знаю с детства, хоть и ходила в соседнее село довольно редко. Когда дорога резко повернула вправо, вдали, на возвышенности, завиднелись редкие огоньки села. От радости, что мое путешествие почти закончилось, я прибавила шаг, не чувствуя усталости и не обращая внимания на мерзкий хлюпающий звук в промокших ботинках.

Когда я поравнялась с первым домом, время, должно быть, перевалило за восемь. Конечно, в такой час, да еще в такую погоду, улица была пустынна. В домах горел свет, но во дворы было не попасть, потому что ворота запираются на ночь. Как же мне найти дом Алишеровых?..

К счастью, я заметила продуктовый магазин, стоящий на маленькой квадратной площади в самом начале села. Туда я и отправилась в надежде, что магазин еще открыт.

Продавщица – пожилая женщина в темном платке и потрепанном пальто – гремела ключами, запирая входную дверь. Услышав мой голос, она едва не подскочила от неожиданности и недовольно буркнула:

– Закрываю уже, завтра приходи!

– Мне не за покупками, апа, а спросить...

Вглядевшись в мое лицо, освещенное светом фонаря, женщина всплеснула руками:

– Ай, так ты не местная! То-то слышу, голос незнакомый. Откуда ты и что тут делаешь?

– Алишеровых ищу. Не знаете, где их дом?

– Да как не знать, когда мы соседи! Ты не сестра ли Генже?

– Сестра, – решила я соврать; мало ли кто там у Генже в подругах ходит, сестра-то звучит куда убедительней.

– Вот и смотри, вроде, похожа. – Продавщица кивнула, радуясь своей наблюдательности. – Ну иди за мной. Я тебе их ворота покажу.

Чавкая жижей под ногами, мы шли минут пятнадцать, и за это время ни одна живая душа не попала нам навстречу. Еще похолодало, ветер нес по небу низкие облака, и я ждала, что в любую минуту пойдет мокрый снег. Наконец женщина остановилась и указала на забор, за которым смутно виднелась крыша высокого дома.

– Там Алишеровы. Только громче стучи, могут не услышать. Ну а я домой.

Я осталась одна на темной улице. Медлить было нельзя, я продрогла и не чувствовала промокших ног. От усталости и волнения у меня, кажется, поднялась температура. На всякий случай я толкнула калитку, но она не поддавалась. Тогда я стала стучать. Сначала молча, а потом, не зная, что кричать, стала звать Генже по имени. Время от времени я прекращала стучать и прислушивалась, не подошел ли кто к калитке с той стороны. Наконец стала бить в калитку ногами, почти плача от отчаяния, что достигла цели, а пускать меня не хотят.

– Кто там? – вдруг громко спросил мужской голос, и я тут же закричала:

– Откройте! Я к Генже!

Послышался шум отпираемого замка, калитка распахнулась. Мне в лицо ударил луч фонаря, и я зажмурилась и прикрыла лицо рукой. Фонарь сместился ниже. Я увидела мужчину с худым лицом и черными усами, в накинутой на плечи непромокаемой куртке. Это может быть или муж Генже, или один из его братьев. Его лицо показалось мне незлым, только глаза смотрели подозрительно.

– Генже здесь живет? – спросила я слабым голосом.

– Здесь. А зачем она тебе? – Взгляд мужчины стал еще более подозрительным.

– Я подруга ее, Салихат. Мы выросли вместе и дружили, пока она замуж не вышла.

– Но тебя на свадьбе не было, – сказал мужчина, не спрашивая, а утверждая.

– Я тогда только ребенка родила, и муж не пустил так далеко. Но я хотела, правда...

– Проходи. – Мужчина распахнул калитку.

Я проскочила мимо него, выдохнув от облегчения. Через выложенный досками двор мы пошли к дому. Мужчина впустил меня в прихожую и велел:

– Грязную обувь сними.

Я быстро скинула с ног разбухшие ботинки, стянула пальто, оставшись в кофте с длинной юбкой, платке и толстых вязаных чулках. В этот момент дверь распахнулась, и Генже с радостным криком повисла на моей шее.

И вот я сижу в уютной кухне и пью который по счету стакан горячего чаю, закусывая колотым сахаром и сырными лепешками. Напротив сидит Генже, подкладывает на тарелку лепешки, хотя в меня уже не лезет. Не могу поверить, что у меня все получилось: и добраться досюда, и найти дом Генже, и попасть в него, несмотря на запертые ворота.

Когда Генже наконец убедилась, что глаза ее не обманывают и перед ней действительно я, она, не задавая лишних вопросов, перво-наперво показала, где у них уборная, а потом спросила, не нужно ли мне совершить намаз, и отвела в специальную комнату.

Пока я подкреплялась, Генже рассказала о своей жизни в замужестве. Человек, впустивший меня, и правда оказался ее мужем

Иршадом. Помимо них, в доме живут родители Иршада, два его младших брата, оба пока не женатые, и младшая сестра, которую уже засватали. У Генже оказалось двое детей: двухлетняя Басират и трехмесячный Галид, в это время они уже спали. Генже выглядела здоровой, ухоженной и счастливой, поэтому я за нее порадовалась: она, скорее всего, и думать забыла про Фатха. Спросить прямо я постеснялась, рассудив, что Генже и сама скажет, если захочет.

Выпив весь чай, я готова рассказать свою историю. Генже ведет меня в залу женской половины, здесь нам не помешают, говорит она, свекровь и сестра мужа рано ложатся спать.

– Как ты, Салихат? – спрашивает подруга, участливо сжимая мою руку. – Случилось что, да? Ай, я так и подумала, когда тебя увидела. В гости-то под самую ночь не часто приходят. Помощь моя нужна, да? Ты давай все-все говори, слышишь?

Второй раз за день я пересказываю события последних месяцев, промолчав только про раненого боевика и про то, чем на самом деле занимается Джамалутдин. Я продолжаю думать о муже в настоящем времени, он живой, что бы там ни говорил Загид. В середине рассказа Генже, не выдержав, начинает плакать. Она не может поверить, что все это произошло на самом деле, ведь когда она приходила ко мне перед тем, как выйти замуж, моей жизни можно было завидовать.

– Иршад отвезет меня завтра в Махачкалу? Мне к тете Мазифат надо.

– Отвезет, не сомневайся! – Генже вытирает слезы и решительно добавляет: – Еще и не то сделает, коли попрошу. Как сына родила, он совсем сумасшедший стал, любое мое желание выполняет, ковры мне под ноги готов стелить, когда из дома иду. Ты мне подруга, даже считай сестра! Да и дело такое, что не помочь никак нельзя. Вот только придется тебе до послезавтра ждать, завтра Иршад выходной.

– Ай... – От расстройства я того и гляди сама расплачусь; ведь лишний день тут – это шанс для Загида разыскать меня и вернуть назад.

– Зачем расстраиваешься? Через день уже будешь в Махачкале, а пока гостьей будешь, мы с тобой столько не видались, и когда потом увидимся! На деток моих поглядишь, отдохнешь немного. А Загида этого не бойся, муж его в ворота не пустит!

– А он позволит мне остаться?

– Иршад? – Генже улыбается снисходительно. – Говорю же, он все делает, как я скажу, и его родители мне не указ.

Мне ничего не остается, как согласиться. Да и правда в словах Генже, соскучились мы друг по дружке, и дня не хватит, чтоб наговориться обо всем.

Подруга отводит меня в пустую и холодную гостевую комнату с одним тонким матрасом на полу, который мне сейчас лучше пуховой перины. Перед тем как заснуть, я думаю о своих сыновьях, и в мыслях немножко разговариваю с Джамалутдином, умоляя его поскорее вернуться. Странно засыпать в незнакомом доме, вдали от детей, с которыми я никогда прежде не расставалась, и где все чужое, кроме Генже. Но утешением мне служит то, что я не могла поступить иначе и вины на мне никакой нет. Остается набраться терпения и ждать встречи с тетей Мазифат, она не оставит меня в беде.

На другое утро со мной знакомятся все, кто живет в доме, кроме братьев Иршада, которые отказались заходить на женскую половину, пока там гостит чужая женщина. Мать и сестра Иршада принимают меня приветливо, они успели узнать от Генже мою историю, которую та не постеснялась немного приукрасить, чтобы вызвать ко мне побольше жалости. Когда я вижу детей Генже (у нее прелестная девочка, а младенец похож на моего Зайнуллу), то уже почти готова вернуться домой: сердце щемит от тоски по детям, я боюсь, вдруг Загид им что-нибудь сделает, мне в отместку. Генже кричит, чтобы я перестала говорить глупости, домой мне никак нельзя. Да я и сама понимаю, что нельзя.

Иршад соглашается доставить меня завтра прямо к дому Мазифат-апа. Я не знаю ее адрес, но помню район и улицу, ведь мы много раз гостили у тети с отцом и Дилярой. Весь день я помогаю Генже с хозяйством, несмотря на ее протесты и возражения, или вожусь с детьми, или пью чай с матерью Иршада и его сестрой Лейлой. Лейла – молчаливая шестнадцатилетняя девушка – напоминает меня саму, какой я была, когда Расима-апа пришла меня сватать. Мне неловко спросить, по любви ли выходит замуж Лейла, или как большинство наших невест. Я надеюсь, что ее ждет счастливая судьба, такая же, какая досталась Генже, ведь когда подруга глядит на мужа и детей, сразу понятно, что лучшей доли ей и желать не надо.

Когда вечером вдруг застучали в ворота, я чуть с ума не сошла, уверенная, что это приехал Загид. Пока Иршад ходил посмотреть, кто там, Генже успела спрятать меня в дальний чулан и сидела со мной, покуда к нам не заглянула Лейла и не сообщила, что это сосед приходил к их отцу по какой-то неотложной надобности. Мы с Генже нервно посмеялись над моим страхом и пошли пить чай, но про себя я подумала, как же хорошо, что назавтра я уезжаю. Грусть от расставания с подругой не так сильна, как ужас перед возможной встречей с пасынком.

* * *

На следующее утро Генже приходит за мной рано, после первой молитвы. Иршад сейчас садится завтракать, говорит она. До Махачкалы ехать почти три часа, ему надо быть на работе в девять, а перед этим еще надо найти дом, где живет Мазифат-апа. Мы идем на кухню и завтракаем чаем с курзе. Генже пишет на бумажке их домашний номер телефона, вдруг пригодится, и я прячу бумажку в тот же карман, где лежат деньги Жубаржат. Потом подруга приносит мои выстиранные носки и вычищенные от грязи сухие ботинки, и я не знаю, как благодарить ее, но она и слушать не желает.

Слышно, как Иршад во дворе заводит машину. Я поспешно одеваюсь, а Генже накидывает поверх домашнего платья пальто, чтобы меня проводить. Снаружи темно и очень холодно. Пора ехать, говорит Иршад и садится за руль. Мы с Генже обнимаемся, наши слезы смешиваются, никакие слова не идут на ум. Так, не сказав ни слова, я забираюсь на заднее сиденье. Машина трогается, и, прежде чем она выезжает за ворота, я оборачиваюсь. В светлом прямоугольнике открытой двери стоит Генже и машет мне рукой. Потом дверь закрывается. Иршад выходит из машины, запирает за собой ворота и возвращается за руль. Теперь можно ехать.

– Ты спи, – говорит он мне. – Дорога дальняя. Как будем подъезжать к городу, разбужу.

Но я так возбуждена предстоящим путешествием, что не могу спать. Бездумно смотрю в окно, но вижу только посветлевшее небо с обрывками темных облаков. Лишь кое-где в домах мелькают редкие

огоньки, но когда мы выезжаем из села, то и они пропадают. Дорога, что ведет на Махачкалу, вся в рытвинах и ухабах, машина подпрыгивает, и моя голова бьется о жесткую спинку без подголовника. Я шарю рукой по сиденью – ремня нет. Вспоминаю о Диляре, но тут же гоню плохие мысли прочь. Пожалуй, самое лучшее и правда поспать. Я скидываю ботинки, ложусь на сиденье, неудобно подогнув под себя ноги, какое-то время пытаюсь приноровиться к тычкам, которые стали еще ощутимее, и незаметно для себя все же засыпаю.

Когда я снова открываю глаза, машина почему-то не едет, а стоит. Спросонья мне кажется, что нас догнал Загид и уже вытащил Иршада из машины, а теперь очередь за мной. Резко сажусь, больно ударившись головой о потолок, и вижу, что Иршад по-прежнему спокойно сидит за рулем, а остановились мы из-за светофора, который горит для нас красным.

– А, проснулась? – Иршад поворачивается ко мне, его зубы на фоне черных усов кажутся неестественно белыми. – Я будить тебя хотел. Ну ты и горазда дрыхнуть! Махачкала уже за окном.

Я жадно вглядываюсь в окно, в надежде увидеть знакомые места, но пока ничего не узнаю.

– Хотя бы примерно помнишь район, где тетка твоя живет? – спрашивает Иршад, закуривая сигарету и немного опуская стекло, чтобы дым выходил из салона.

– В центре есть площадь с фонтаном. Если от площади повернуть направо, мимо высокого серого дома с башенками, и проехать две улицы, там и будет ее дом.

– Ага, понял, – кивает Иршад. – Найдем.

Я облегченно вздыхаю. Я-то боялась, что муж Генже посмеется над моим путаным объяснением, а потом велит не морочить ему голову и либо назвать точный адрес, либо выйти из машины. Наверное, Иршад хорошо знает город и понимает, какой район я имела в виду. Успокоившись, я с любопытством гляжу в окно, удивляясь количеству людей и машин на ярко освещенных улицах. Еще нет девяти утра, но город уже проснулся и живет своей жизнью. До замужества я бывала в Махачкале не чаще раза в год, а после и вовсе перестала. Я совсем отвыкла от всего этого и не представляю, как оказалась бы тут совсем одна, как разыскала бы нужную улицу. Если

бы не Генже и Иршад, мое путешествие скорее всего закончилось бы ничем. Но радоваться пока рано, ведь еще неизвестно, дома ли тетя и как она меня примет. Пусть даже Мазифат-апа обрадуется моему появлению, но дядя Ихлас, скорее всего, нет. Он поборник суровых нравов и убежден, что долг женщины состоит в беспрекословном подчинении мужчине. Я стараюсь не думать о том, что будет, если дядя окажется дома.

Наконец я начинаю узнавать улицы и дома. Вот магазин, куда мы с Заремой ходили, чтобы купить хлеба к обеду. Вон там маленький садик со скамейками, расставленными под тенистыми липами, сейчас, конечно, голыми. Вон арка, пройдя через которую оказываешься у пересохшего ручья, излюбленного места игр местной детворы. А вот...

– Остановите! – кричу я, как ненормальная. – Вон, вон ее дом!

Иршад резко тормозит. Я быстро отсчитываю этажи – первый, второй, третий... Тетина квартира на четвертом. Облегченно перевожу дух: в окнах горит свет.

– Теперь я сама пойду.

– Уверена? – Иршад с сомнением глядит на меня. – Может, проводить? Время у меня еще есть.

– Ай, нет, спасибо. Видите, свет? Значит, дома кто-то есть. Меня впустят.

– Ну смотри, – с сомнением повторяет Иршад. – Знаешь, давай как? Я тут буду ждать десять минут. Если что, успеешь вернуться, и тогда будем думать. А если не придешь, так уеду.

Горячо благодарю Иршада за его доброту и помощь. На всякий случай мы прощаемся, и я выхожу на тротуар. Странно, в городе куда теплее, чем в нашей долине. Должно быть, я смотрюсь нелепо в толстом пальто и платке. Но спешащие мимо люди не обращают на меня внимания. Помня про отведенные Иршадом десять минут, я вхожу в подъезд и на одном дыхании преодолеваю все четыре лестничных пролета. Поверить не могу, что наконец-то стою у квартиры тети Мазифат. Подношу дрожащую руку к звонку и сильно давлю на кнопку. В глубине раздается знакомая с детских лет переливчатая трель.

– Кто? – слышу тетин голос и от облегчения едва не плачу.

– Это я, Салихат.

– Салихат?

Дверь распахивается, тетя смотрит на меня так, будто увидела привидение.

– О Аллах, что ты тут делаешь, девочка?

– Можно мне войти?

– Конечно! – Тетя отодвигается в сторону, пропуская меня в прихожую. – Что случилось, дочка, скажи? Ты как здесь? С мужем приехала? А где он сам?

– Ай, подождите, все расскажу. Ихлас-ата дома?

– На работу уехал ни свет ни заря. И Гаффар с ним, он теперь с отцом в одной фирме работает. Да ты раздевайся, в комнату иди! Я сейчас чай поставлю, голодная небось?

Пытаюсь убедить тетю, что совсем не голодная, но она и слушать не желает. Проще позволить ей сделать так, как она хочет, да у меня и сил не осталось спорить. Снимаю верхнюю одежду и обувь и иду в гостиную, обставленную современной мебелью, с огромным плоским телевизором на стене и музыкальным центром на столике.

Я сажусь на мягкий диван и откидываюсь на удобную спинку, отдыхая от салона Иршадовой машины. Тишина обволакивает меня, будто коконом, слышны только тиканье больших напольных часов да звон посуды из кухни. Входит Мазифат-апа с подносом, уставленным чашками, вазочками и тарелочками. Я помогаю ей составить все на низкий столик, стоящий между двумя креслами. Из вежливости принимаю у тети чашку, хотя не хочу ни пить, ни есть.

Мазифат-апа глядит на меня с острым любопытством, но традиции не разрешают выпытывать, что да как, покуда гость не отдохнет немного, не утолит жажду. Поэтому, пока я осторожно пью обжигающий чай, она словоохотливо рассказывает, как счастливы в браке обе ее дочери, что она уже дважды бабушка, а у Заремы второй ребенок на подходе.

– Пора Гаффара женить, – вздыхает Мазифат-апа, обмахиваясь краем тонкого белого платка, потому что в комнате немного душно. – Да только уперся он и ни в какую, говорит, сперва карьеру сделаю, денег заработаю, а потом сам себе невесту найду. Зачем зарабатывать, говорю ему, у отца денег на всех хватит, приведи жену хоть завтра в дом, с тех пор, как дочки замуж ушли, одной-то мне тяжело по хозяйству управляться. Ихлас ругается, но Гаффар такой упертый, ничем его не переубедишь. Ну, подождем еще, авось образумится.

Тетя переводит дух, делает глоток чаю и продолжает.

– Ай, Салихат, хорошо, что приехала! Соскучилась я по тебе, сколько лет не видалась. Знаю, трое сыновей у тебя, значит, Аллах к тебе особой милостью благоволит. Вот, Абдулжамал заходил вчера со второй женой, они в городе по делам. Предлагала им тут остаться, а он отказался, в гостинице, мол, остановились. Обидно стало, понимаешь, все-таки брат родной, зачем гостиница, когда комнаты после дочерей пустые стоят?

Услышав про отца, я замираю, не донеся чашку до рта. Он, значит, был здесь вчера! Что, если бы Иршад не выходной оказался и меня накануне привез? Тогда я бы точно с отцом тут встретилась. Какая была бы у него реакция, узнай он, что я из дому ушла и разъезжаю в машинах с чужими мужчинами? Уж точно ничего хорошего бы меня не ждало.

– А Джамалутдин как? – добирается тетя до главного. – Здоров, надеюсь?

Набираю в грудь побольше воздуха и начинаю рассказывать. Говорить приходится куда подробнее, чем на кухне у Жубаржат, потому что тетя не знает того, что знала моя мачеха, живя со мной в одном селе. Я ничего не утаиваю: ни рассказа Агабаджи, ни раненого, ни долгого отсутствия Джамалутдина, ни страшных слов и намерений Загида. Где-то в середине рассказа у меня начинают течь слезы, но я не обращаю на них внимания, и через какое-то время они заканчиваются. Я все говорю и говорю, глядя в одну точку – на высокий фикус с глянцевыми листьями, на которых совсем нет пыли. Мазифат-апа слушает молча, не перебивая, не охая и не издавая вообще никаких звуков, и под конец мне кажется, что ее и вовсе нет в комнате, что я только фикусу и рассказываю. И по мере того как рассказ приближается к концу, мне становится легче. Наконец я умолкаю, закончив на том, как муж Генже высадил меня возле тетиного дома.

Мазифат-апа молчит, и я бросаю на нее испуганный взгляд: ну как она в ярости, что я решилась на побег и принесла такой позор в ее дом? Но нет, зря я так про тетю думала. Выражение ее лица такое, что невольный порыв бросает меня на ее грудь. А она крепко прижимает меня к себе, гладит по волосам, бормочет слова утешения и называет доченькой. Потом, успокоившись, говорит:

– Ай, ведь какой негодяй тот Загид! Мне он еще на свадьбе не понравился, как увидела его лицо, так и подумала про него нехорошее. Но ты не верь ему, девочка, слышишь, ни одному слову не верь! Мало ли что он про Джамалутдина выдумал. Если бы все так было, как он сказал, к вам пришли бы уже, понимаешь?

– Но я не знаю, где Джамалутдин. И дети с Загидом остались, вдруг он что-нибудь с ними сделает?

– Расима-апа с детьми, она за ними приглядит, ты об этом не волнуйся. О себе сейчас думай. Хорошо, что приехала, ай, хорошо! Сейчас отдыхай, не беспокойся ни о чем, а вечером Ихлас придет, будем вместе думать, как тебе помочь. Абдулжамал номер гостиницы оставил, хочешь, позвоню ему, пусть придет? Ну, не хочешь, так погодим пока. Но он тебе отец и за тебя отвечает, коли Джамалутдин в таком долгом отсутствии.

– Мне главное – узнать про мужа. Может, у дяди Ихласа связи какие есть?

– Может, и есть, – кивает тетя Мазифат, – да только осторожно надо. Ведь что мы знаем? Что Джамалутдин, не приведи Аллах, террористам пособник. А мы нашу власть поддерживаем, за порядок мы и закон, поняла, да? Ихласу нельзя рисковать, ну как он начнет разузнавать про Джамалутдина, а то, плохое, правдой окажется? Как он свой интерес объяснит? Ведь тогда и за нас возьмутся, доказывать придется, что мы сами не пособники.

Я не могу не согласиться с доводами тети. Только сейчас начинаю понимать, какое опасное дело затеяла. Вдруг у них неприятности из-за меня будут? Я ведь не знаю, как все обстоит на самом деле. Кто из мужчин станет всю правду про свою жизнь женщине рассказывать? У нас так: чем меньше женщина знает, тем лучше. Наверное, тетя Мазифат понимает по моему лицу, о чем я думаю, потому что говорит:

– Это я к тому, что нельзя вот так, сгоряча. Обдумать сперва следует. Потому и сказала: вернется Ихлас и решит, как поступить. Я мужу доверяю, скоро тридцать лет как вместе живем, привыкла на него полагаться.

Тетя устраивает меня в бывшей комнате Зарифы. День тянется бесконечно. Я бесцельно смотрю в окно, потом немного в телевизор. Предлагаю Мазифат-апа свою помощь, но она говорит, что сегодня я гостя и поэтому должна отдыхать. После обеда тетя ложится

вздремнуть. Она и мне советует, только я не могу спать: совсем не своя стала от переживаний, гадаю, когда и как все закончится. Нахожу на полке журнал в яркой обложке и читаю непонятные статьи: про образование девушек, про вред ранних браков, про современные средства предохранения от беременности (я и не знала, что такое возможно). Интересно, в курсе ли тетя Мазифат и дядя Ихлас, что читала их дочь, пока не вышла замуж?..

Когда на улице стемнело, слышу, как в замочной скважине поворачивается ключ. Я холодею от безотчетного ужаса. Подкравшись к двери, немного ее приоткрываю и выглядываю в прихожую. Мазифат-апа целует дядю Ихласа в щеку, а располневшего и сильно полысевшего Гаффара – в лоб. Она суетится вокруг них, принимает кепку, портфель, подает тапочки. Наверное, раньше это была обязанность одной из моих двоюродных сестер.

Гаффар идет к себе, на ходу сказав матери, что не голоден и поэтому ужинать будет позже, а дядя Ихлас – сначала в ванную, а потом на кухню. Наверное, тетя Мазифат его накормит, а уж потом будет рассказывать. Я сажусь на узкую кровать, зажимаю между коленями ледяные от волнения руки и жду. Какое-то время в квартире стоит тишина, а потом ее взрывает громкий, негодующий голос дяди Ихласа.

– Что такое говоришь, женщина? Салихат здесь? В нашем доме?!

Я слышу тяжелые шаги, дверь распаивается и на пороге появляется дядя. Его лицо покраснело и подергивается от злости. Позади него топчется тетя Мазифат, жалобно повторяя:

– Ай, Ихлас, ведь девочка не виновата! Что ей было делать, когда она в такой беде оказалась? Мы одни у нее родственники, кроме отца. Она сперва к нему пошла, но дома не застала, сам знаешь, тут он, в городе сейчас...

– Молчи! – Дядя Ихлас оборачивается к жене, и ту будто ветром сдувает. – Ну, салам алейкум, Салихат, – говорит он мне голосом, не предвещающим ничего хорошего.

– Алейкум ассалам, Ихлас-ата...

– Что же ты, из дома сбежала?

– Это был не побег, Ихлас-ата. Тетя Мазифат вам разве не рассказала?

– Мало ли, что она рассказала! Я тебя спрашиваю. Так сбежала?

Обдумываю вопрос. Если рассудить, то так и есть: мой поступок иначе, как побегом, не назовешь. Опустив голову, я молча киваю. Видимо, моя покорность немного смягчает дядю Ихласа, он проходит в комнату и говорит:

– Сядь.

Опускаюсь на кровать. Дядя сильно разозлен, но я чувствую, что если найду правильные слова, он может принять мою сторону.

– Рассказывай.

Кажется, я уже выучила свой рассказ наизусть, я повторяю дяде Ихласу почти слово в слово то, что сказала тете Мазифат. В конце, не сдержавшись, прибавляю:

– Ихлас-ата, прошу, помогите! Я боюсь Загида, он на все способен. Даже если Джамалутдин и правда погиб, – в этом месте я судорожно сглатываю комок, застрявший в горле, – я никак не могу выйти замуж за его пасынка.

– По нашим, мусульманским законам, не можешь, это верно, – соглашается дядя, – а по русским – вполне даже можешь.

Я холодею. То же самое сказал мне Загид. К чему дядя Ихлас клонит?..

– Но мы в нашем селе живем только по мусульманским законам, – твердо отвечаю я.

Дядя Ихлас кивает:

– Да, Салихат, именно этих слов я и ждал от тебя. Но если ты правоверная мусульманка, как могла пуститься в такой путь одна, без сопровождения? Как могла оставить своих детей? Твой отец живет через две улицы от тебя, ты могла подождать, пока он вернется домой, и пойти к нему за советом. Он самый близкий твой родственник, если не считать братьев твоей покойной матери, которые неизвестно, вернутся ли когда-нибудь на родину, а может быть, уже где-то и сгинули. Отец имеет полное право отказать тебе в помощи, если посчитает, что тебе лучше делать так, как решила твоя новая семья, а точнее, – Загид как глава семьи. Вернется Джамалутдин или нет – покажет время, а там пусть они разбираются между собой. Твое дело – покориться воле мужчины, который в данный момент несет за тебя ответственность. Раньше это был твой отец, потом – муж, а теперь пасынок, и, даже если он говорит вещи, которые кажутся тебе неправильными, ты должна принять его волю. Если Загид не прав, он

будет держать ответ перед Аллахом. Но ты в любом случае будешь держать перед Ним ответ, ибо нарушила главную добродетель мусульманки: послушание.

Некоторое время дядя Ихлас молчит, давая мне возможность осмыслить его слова. Наконец продолжает:

– Я пока не решил, что с тобой делать. В любом случае, пока ты останешься здесь, в этой квартире. Сейчас в городе твой отец, завтра я свяжусь с ним и...

– Ай, нет! – вскрикиваю я. – Прошу, пожалуйста, Ихлас-ата, не говорите отцу!

– Это почему же? Ты, вроде, сама пошла в его дом, не зная, что он уехал. Ведь шла, чтобы рассказать, чтобы помощи попросить, так, да?

– Он... он будет сильно гневаться на меня за то, что сбежала. Уж если вы разгневались...

– Твоему отцу я обязан сообщить, – твердо говорит дядя. – Но, если ты так сильно против, могу позвонить Загиду. Выбирай.

– Отцу... – шепчу я едва слышно.

– Хорошо. – Дядя Ихлас поднимается со стула. – Видать, разум еще не совсем покинул твою голову, Салихат. Из дома чтобы не ногой, поняла? Я велю жене запереть дверь и спрятать ключи. Еще не хватало мне потом отвечать за то, что ты и отсюда сбежала.

Он уходит, и я слышу, как на двери с той стороны щелкает задвижка. Я даже не обращала внимания, что она там есть, не привыкла к такому – в нашем-то доме ни одного замка нет, кроме как на входных дверях. Получается, я теперь пленница?.. Мне вдруг становится все равно. Сил совсем не осталось. Ложусь, не раздеваясь, ничком на постель, подтянув коленки к животу, и смотрю в окно на качающиеся голые ветки, на освещенные окна соседнего дома, на темное небо, усыпанное мелкими звездами – у нас в долине они не такие, а крупные, с кулак величиной. До меня доносятся будничные звуки, какие раздаются, наверное, в любой обитаемой квартире: приглушенный звук телевизора, льющаяся из крана вода в ванной. Как же я далека от всего этого! Мне не нужно ни комфорта, ни богатства, я готова жить в сарае, только бы со мной были мои дети, только бы Джамалутдин был рядом. При мысли о сыновьях и муже из глаз начинают течь горькие слезы. Я плачу и плачу, никак не могу остановиться. Почему, ну почему все так вышло?! Чем я разгневала

Всевышнего? Разве не была я послушной дочерью, хорошей женой и матерью? Как заслужить прощение Справедливейшего из богов, чтобы он вернул все, что было раньше?.. Мысли в моей голове путаются и постепенно исчезают – одна за другой. Я засыпаю, и мне снится двор жарким летним днем; я сижу под абрикосом, кормя грудью младенца, а вокруг бегают дети, и их так много, что я, как ни стараюсь, никак не могу их сосчитать.

На следующее утро, едва дядя Ихлас и Гаффар уезжают на работу, Мазифат-апа отпирает дверь и зовет:

– Салихат, девочка, иди сюда.

Она уже приготовила мне завтрак и ждет, пока я помоюсь, а потом сидит рядом, подливая чай в мою чашку и подкладывая свежие чуду с курятиной, будто пытается исправить то, что произошло накануне.

– Ты на дядю не обижайся, он не злой человек, просто любит, чтобы все было правильно. Его тоже можно понять – приходит с работы, а тут такая новость: племянница из дому сбежала.

– Что же теперь будет? Дядя Ихлас сказал, моему отцу станет звонить...

– Не знаю, – тетя отводит глаза и начинает протирать чистую, без единого пятнышка клеенчатую скатерть, – мне Ихлас не докладывался, а мое дело маленькое – делать, как велит.

– Он велел дверь входную запереть, да? И ключи от меня спрятать?

– Даже если и так? – Тетя Мазифат вскидывается, повышает голос: – Кто тебя знает, что еще можешь выкинуть? А ну как снова сбежишь? Город большой, окажешься одна на улице – пропадешь. Будет ехать плохой человек мимо, запихнет в машину, и не найдут никогда. У нас знаешь сколько таких случаев было? У Ихласа друг есть, в МВД работает. Говорит, столько дел заведено о пропаже девушек, что и не сосчитать. Я сама знаешь как за дочерей боялась, когда они на улицу шли? Хорошо, отец запретил им в университет поступать, я хоть спала спокойно, зная, что обе почти всегда дома. Теперь вот, слава Аллаху, замуж вышли, опять дома сидят, детей нянчат. Уберегли мы их с отцом от беды. А ты? Привыкла дома-то свободно ходить, так думаешь, и здесь можно? Нет уж, сиди под нашим приглядом, пока все не образуется.

И я сижу. Весь этот день и весь следующий. В комнате меня больше не запирают, дядя Ихлас, когда приходит с работы, разговаривает со мной приветливо, будто и не было того неприятного разговора. Гаффар делает вид, что меня не замечает, да и не о чем нам разговаривать, он абсолютно чужой мне человек. Мазифат-апа разрешила мне бездельничать только в первый день, а со следующего стала поручать то одно, то другое. А я и рада, работа по дому для меня привычной всего, за ней время пролетает незаметно, и некогда думать о плохом. Странно, но отец до сих пор не появился, и я уже начинаю думать, что он и вовсе не появится. Неужели дядя Ихлас не стал ему звонить? Тогда... кому же он позвонил? Не хочу, не буду об этом думать. Лучше пойду и помою пол в прихожей, он хоть и чистый, но все равно тряпкой пройтись лишний раз не помешает.

* * *

Звонок в дверь раздаётся на третье утро, которое я провожу в квартире тети Мазифат. Мы с тетей перебираем нут на кухне, но, услышав звонок, замираем и смотрим друг на друга.

– Иди в свою комнату, – отрывисто говорит тетя, ее голос дрожит от волнения.

Меня не надо просить дважды. Уверенная, что это отец или, того хуже, Загид, я закрываю дверь и осматриваюсь, где бы спрятаться. Но тут почти нет мебели, только узкий шкаф, кровать и стол. Поэтому я просто стою посреди комнаты и жду, читая про себя молитву.

Потом все происходит очень, очень быстро. Дверь распахивается, ударившись о стену, и от этого громкого стука я буквально подскакиваю на месте. Но в следующий момент мир будто переворачивается, и мне становится страшно уже за собственный рассудок. Потому что передо мной должен стоять кто угодно, но только не мой муж. Я силюсь сказать что-нибудь и не могу: из горла не вырывается ни звука. Так бывает в кошмарных снах, когда пытаешься крикнуть или убежать, но не получается ни то ни другое.

Несколько бесконечных минут Джамалутдин смотрит на меня, а потом размахивается и сильно бьет по лицу. Падая, я успеваю

подумать, что он мог бы и не делать этого: я в любом случае потеряла бы сознание.

Эпилог

Мы сидим на циновках в комнате Джамалутдина, я крепко прижимаюсь к нему и обвиваю руками его шею: вдруг, если отпущу, сказка закончится, и он опять исчезнет? Джамалутдин гладит меня по волосам, а потом приподнимает мое лицо и осторожно целует там, где остался след от его пощечины. Мне уже не больно, припухлость почти прошла, остался только синяк, но следующие несколько дней я в любом случае не планирую выходить за ворота. Синяк – это пустяки.

Из Махачкалы мы уехали только вчера, но мне кажется – много дней назад, столько всего произошло за это время. Самая главная новость, мысль о которой доставляет мне ни с чем не сравнимое удовольствие: Загид больше не живет в нашем доме.

Я в который раз прошу Джамалутдина рассказать историю от начала до конца. Он протестует, со смехом говоря, что не может сто раз повторять одно и то же. Но мне надо слышать снова и снова, только во время его рассказа я убеждаюсь: то, что происходит – это на самом деле, а не домыслы моего заболевшего рассудка.

Трудно поверить, но, судя по всему, и правда все было именно так, как говорит Джамалутдин. Вынужденный скрываться в отдаленных районах Дагестана у людей, от которых он полностью зависел, мой муж ни на минуту не переставал думать обо мне и наших детях. При первой же возможности он связывался с Загидом, и тот уверял, что беспокоиться не о чем. О том, что Загид замышляет такое по отношению ко мне, своей мачехе, и к нему, своему отцу, Джамалутдин и помыслить не мог.

Прошло почти полгода, прежде чем Джамалутдин смог вернуться домой. Он предвкушал встречу со мной, но нашел в доме только присмирившую Расиму-апа, взбешенного Загида и неухоженных детей. Пошел уже четвертый день моего побега, в тот самый день я находилась у тети Мазифат. Загид уже прекратил поиски, потому что не знал, где еще, кроме нашего села, можно меня искать. Ему и в голову не могло прийти, что я способна в одиночку добраться до Махачкалы.

Джамалутдин, вне себя от тревоги и расстройства, хотел идти к моему отцу, но Загид его отговорил, сказав, что тот в отъезде. А потом, понимая, что ему предстоит объяснять, по какой причине я ушла из дома, Загид сказал, что ему кое-что про меня известно. Видимо, ненависть пасынка достигла такой силы, что он решил не останавливаться ни перед чем, даже перед самой отвратительной ложью. И, глядя в глаза своему отцу, Загид сказал, что я убежала в Махачкалу (если бы он знал, что угадал!), чтобы донести на Джамалутдина властям. По словам Загида, я решилась на это почти сразу, едва мой муж уехал, но он, Загид, все эти месяцы силой удерживал меня в доме, а Джамалутдину не сообщал, чтобы не расстраивать его. Загид сказал примерно так: «Когда Салихат узнала, что ты связан с боевиками, она испугалась, что детей могут отправить в детский дом, а ее обвинить в пособничестве. Я пытался вразумить твою жену, но она не желала слушать. Тогда я посадил ее под замок, и Салихат вроде успокоилась, но теперь-то понятно: она просто пыталась усыпить мою бдительность. Когда ей снова позволили выходить во двор под присмотром Расимы-апа, та на минуту упустила Салихат из виду, а она только этого и ждала. Бежала, как есть, без денег и документов». Загид стал уверять Джамалутдина, что ему опасно находиться в доме и лучше всего снова на время исчезнуть. Джамалутдин не хотел верить, что я способна на такое, и позвал Расиму-апа, но та подтвердила правдивость слов Загида, видимо, запуганная самим Загидом. Джамалутдин понял, что ему и в самом деле нельзя тут оставаться, но не мог уехать, не побыв немного с детьми. Он не держал зла на сына и даже мысли не мог допустить, что тот говорит неправду. Джамалутдин решил переночевать дома, а утром отправиться в одно из безопасных мест. Утром, когда он уже был готов к отъезду, из Махачкалы позвонил Ихлас-ата и вначале попросил к телефону Загида, но, поняв, с кем разговаривает, несколько секунд потрясенно молчал, прежде чем сообщить, что Салихат в данный момент находится в его доме. Джамалутдин спросил адрес, повесил трубку и, не сказав ни слова Загиду, сел в машину и поехал в город. Как позже выяснилось, прежде чем звонить Загиду, муж тети вначале связался с моим отцом, но тот в бешенстве заорал, что не хочет даже слышать моего имени и ему все равно, где я и что со мной. И тогда дяде Ихласу ничего не оставалось, кроме как сделать второй звонок.

– Но как ты мог поверить Загиду? – Я качаю головой, мне в самом деле этого не понять. – Ведь ты знал, как сильно я тебя люблю! Я места себе не находила, каждый день думала: «Когда он вернется?» И потом Загид...

– Не надо, – глухо говорит Джамалутдин, – не продолжай, прошу. Мне достаточно было услышать это один раз. Больше не хочу.

– Почему ты не спросил меня, как все было на самом деле, прежде чем ударить? Да, Загид твой сын и у тебя не было причин ему не верить, но я ведь твоя жена.

– Ты правда хочешь знать? – спрашивает Джамалутдин изменившимся голосом.

Я поднимаю голову и смотрю на его лицо. Оно очень бледное, а в глазах такое, что мне становится страшно. Я готова сказать: «Нет, не надо мне знать никакую правду!», но вместо этого губы произносят совсем другое:

– Да. Да, хочу.

Джамалутдин вздыхает, мягко отстраняет меня и поднимается. Он подходит к окну – своему излюбленному месту – и поворачивается ко мне спиной. То, о чем он собрался сейчас говорить, настолько неприятно, что ему проще делать это, не глядя на меня.

– Салихат, мне следовало рассказать тебе обо всем или сразу, едва ты вошла в этот дом, или не рассказывать вовсе. Но Аллах в мудрости Своей решил показать мне всю ничтожность этих измышлений. Ты знаешь, что случилось с моей первой женой, Зехрой?

– Д-да... она... – выдавливаю я и замолкаю, не в силах продолжать.

– Ну и?.. – Джамалутдин мгновение смотрит на меня, а потом, не выдержав, снова отворачивается. – Дальше.

– Нет, – я мотаю головой, хотя он не может этого видеть, – не могу.

– Я убил ее, – говорит Джамалутдин.

Говорит так просто и буднично, будто о погоде рассказывает. Я смотрю на его широкую спину и жду, что он скажет дальше.

– По селу разные слухи ходили. Но в конце концов все остановились на самой очевидной версии: что я сделал это, наказав жену за измену. Только Загид и я знали правду. Возможно, Расима-апа о чем-то догадывалась, но мы с ней никогда это потом не обсуждали.

Загид сказал паре-тройке приятелей, а те потом по всему селу разнесли, что, пока я отсутствовал, Зехра сбежала в город к своему любовнику, а я разыскал ее, привез домой, заставил покаяться и, когда она отказалась, убил. Все было почти так, за исключением одного: Зехра была честная женщина, и у нее не было любовника. Мы жили с ней уже много лет. Пока Загид не подрос достаточно, чтобы мне помогать, я занимался только бизнесом и больше ничем. Но потом... потом все изменилось. В нашем доме стали бывать мужчины, которых ты много раз видела. Зехра сначала терпела, а потом не выдержала и закатила истерику, она кричала, что я стал террористом и из-за меня всю нашу семью убьют. Только хорошая пощечина заставила ее замолчать. Напрасно я уверял жену, что опасности нет никакой, что я не принимаю участия в террористических действиях и что боевикам нужно от меня только одно: мои деньги. Если бы я не стал помогать им, еще неизвестно, что было бы с нашей семьей. Но Зехра не хотела слушать. Она замкнулась в себе, избегала супружеских отношений и часто плакала. Я любил ее и думал, что должно пройти время, прежде чем она привыкнет и все снова будет как прежде. Однажды я, как обычно, уехал на несколько дней. А когда вернулся, Зехры дома не оказалось. Никто не видел ее уже два дня. Я не знал, что думать, обыскал все вокруг, спрашивал у соседей, выставляя себя дураком... Наконец, когда я отчаялся, рано утром зазвонил телефон. Звонил родной брат Зехры, Хамид, живущий в Махачкале. Он сказал, что выполняет свой долг и не мог поступить иначе. Зехра находилась в его квартире, запертая в комнате: разговаривая с ним, я слышал, как она стучит в дверь и требует ее выпустить. Я ехал так быстро, как только мог. Когда Хамид увидел меня, он сказал, что, прежде чем войти к Зехре, я должен кое-что узнать. Брат жены отвел меня на кухню и рассказал следующее: накануне вечером в его дверь позвонила Зехра. Он сначала обрадовался, а потом испугался, решив, что случилось несчастье. Но по мере того как он слушал сбивчивый рассказ сестры, в Хамиде нарастал ужас. Зехра собиралась на другой день отправиться в милицию и рассказать там правду о том, чем занимается ее муж. О том, что Загид тоже к этому причастен, она не знала. Хамид, как мог, успокоил Зехру, накормил ужином и отправил спать в гостевую комнату, а когда она заснула, запер дверь на ключ и стал думать. Наутро Хамид принял решение и позвонил мне. – Джамалутдин

помолчал. – Выслушав рассказ Хамида, я поблагодарил его и сказал, что теперь он может впустить меня к Зехре. Он сделал это, и я вошел. Зехра смотрела на меня настороженно, забившись в дальний угол. Я спокойно заговорил с ней, сказал, что отвезу ее домой, а потом протянул руку и помог ей подняться. В машине Зехра молчала, она не произнесла ни слова пока мы ехали, и я тоже молчал. Дома я запер ее в чулане и оставил одну, а утром спросил, что она намерена делать дальше. Не отводя взгляда, Зехра сказала, что едва я ослаблю бдительность, она снова попытается добраться до Махачкалы, но теперь уже пойдет не к брату-предателю, а напрямик в милицию. Я понял: жена говорит правду. Я прочитал это в ее глазах. И тогда я принес подушку и задушил ее. Она не сопротивлялась. Видимо, посчитала смерть лучшим избавлением от такого мужа. Потом я завернул тело Зехры в одеяло, положил в багажник, отвез на кладбище и зарыл в одну из свежих могил. Вернувшись домой, я отмыл лопату от земли, поставил в сарай и пошел обедать.

Джамалутдин закончил рассказ и теперь ждет моей реакции. А я не знаю, как вести себя, что говорить. История, которую я сейчас услышала, кажется настолько невероятной, что мозг отказывается воспринимать ее всерьез. Но вместе с тем я уверена: все это правда от первого и до последнего слова.

Я медленно поднимаюсь и подхожу к Джамалутдину сзади так близко, что слышу его дыхание. Обнимаю и прижимаюсь щекой к его спине. По моему лицу текут слезы, впитываясь в рубашку Джамалутдина. Так мы стоим и молчим какое-то время, а потом муж разворачивается, берет мое лицо в ладони и говорит:

– Ты считаешь меня чудовищем?

– Нет, – говорю я, и это правда.

– Ты боишься и ненавидишь меня за то, что я сделал?

– Нет, – снова говорю я.

– Ты больше не будешь любить меня?

– Нет, – в третий раз говорю я. – Я не смогу не любить тебя, Джамалутдин. Даже если ты будешь просить разлюбить тебя, у меня не получится. Я не устаю благодарить Аллаха за то, что ты со мной, и я молю Его продлить твои годы, наполнив их мудростью и раскаянием. Ты мой муж, отец моих детей, моя любовь и моя жизнь. Не покидай меня, прошу. Никогда.

Джамалутдин обнимает меня, прижимая к себе так крепко, что дыхание перехватывает.

– О, Салихат, – шепчет он. – Салихат...

И он произносит слова, которых я жду уже несколько лет. Мне больше не о чем мечтать. Я закрываю глаза, чтобы продлить миг наивысшего счастья. Краткий миг, в котором нет ни войны, ни Загида, ни убийств, ни предательств...

И мне хочется верить, что так теперь будет всегда.

notes

Примечания

1

Тонкие пресные лепешки с начинкой.

2

Дагестанские пельмени.

3

Загид – «аскет» (араб.).

4

Густой мясной суп.

Махрам – в исламе, близкий родственник, с которым женщина имеет право оставаться наедине.

6

Джаббар – «могущественный» (араб.).

7

Отваренные лепешки из кукурузной муки.